
Владимир АЛЕЙНИКОВ

БЫЛО СЛОВО*

Проза поэта

В Коктебеле, в конце девяностых, один человек петербургский, соколовский ярый поклонник, аккуратно, за уголок, чтоб ему не измять случайно, ненароком не повредить глянцевую поверхность со столь дорогим для него, смутным изображением, с трепетом и восторгом, затаив дыхание даже, весь по струнке чуть ли не вытянувшись, будто бы перед начальством, из бумажника своего достанет и молча покажет мне Сашину фотографию, с которой он никогда, годами, не расстанется, — вот до чего доходит у нас в России любовь к некоторым писателям, — на что я молча кивну на изрядную грудку моих лежащих в углу бумаг, и соколовский поклонник увидит там фотографию, на которой запечатлены мы с Сашей, вдвоем, в Подмосковье, в период его пребывания, не больно-то продолжительного, на родине, от которой отвык он давно уже, в марте холодном ушедшего в прошлое навсегда девяностого года, и тогда соколовский поклонник внезапно заговорит, взволнованно и сумбурно, заикаясь и запинаясь, на чрезмерно высоких тонах, и я опасаться начну всерьез, как бы этот поклонник соколовский, питерский, книжный, потрясенный внезапно увиденной фотографией, человек дара речи вдруг не лишился, такое это на питерца впечатление произвело: эх, надо же! — вот еще одна обнаружилась фотография любимейшего писателя! — эх, если бы удалось ему, поклоннику соколовскому, и эту вот драгоценность чудом заполучить!

Леша Цветков, поэт и работник примерный на радио «Свобода», ныне реликтовой, доисторической станции, — тот у себя, за границей, от души, полагаю, напишет вдохновенное предисловие к Сашину двухтомнику, где он, поэт, и прозаик, и радиожурналист, компьютерный человек, эмигрант со стажем немалым, беспочвенный гражданин всего подлунного мира, без всяких там церемоний, чтоб мало не показалось кому-нибудь, на земном шаре и на других планетах системы Солнечной, чтоб знали все,

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

* Окончание. Начало: «Нева», 2022, № 2.

что почем в этой жизни и кто есть кто, на сегодня, в литературе, заявит, весьма убедительно, для себя самого, и весьма сомнительно, для других, что были в двадцатом веке на Руси два всего-то писателя настоящих — Андрей Белый да Андрей Платонов, негусто, согласитесь, то-то припомнилась, из мультфильма старого, фраза крылатая, безусловно, со смекалкой народной, с прикидкой наперед, «маловато будет!» — а теперь их, писателей, три уже, (трое — лучше, Бог Троицу любит!), потому что следует к ним нынче Сашу присоединить Соколова, того он стоит, по его, цветковскому, мнению.

Вот такая бывает любовь.

И такая, к ней в рифму, морковь.

Или — клюква. Может быть, липа?

Модернистского вида. И — типа.

И какое, заметим, редкостное понимание, человеческое и писательское, того, что другие не понимают. Впрочем, те, другие, всего лишь люди, а не писатели. Взятки гладки с них. Вот писатели — понимают. Правда, не все. Все — не могут. У них не получился. Не дано, видать, понимание всем подряд. Увы. Лишь для избранных текст сияет во всей красе.

Вот какое бывает верное, с озареньем, проникновение. В глубину, другим недоступную. Прямо в недра. В самую суть.

В точку бьют ценители прозы. Попадают в десятку. В яблочко. Бьют наотмашь. Или с размаху. Мимо цели. И реже — в цель.

Бить так бить. Попадать. Стрелять.

Заявлять. Чтобы слышно было.

Говорить. Говоренье — сила.

Утверждать. Хвостом не вилять.

Пробивать. Не мишень, так стол.

Можно — письменный. Ресторанный.

Брешь устроить в стене туманной.

Чтобы каждый туда вошел.

Забивать. Можно даже гвоздь.

Можно — место. Привет Парнасу!

И точить, между делом, лясы.

С кем — неважно. Возникнет гость.

На пороге. Или — вдали.

Постоит — за незримой гранью.

Но — войдет ли? Грядет — сгоранье.

В лабиринтах чужой земли.

Что там Набоков, с его единственной, легендарной, затверженной всеми Сашиными поклонниками наизусть, повторяемой шепотком почтительным, как заклинание, сквозь пространство и время, фразой о «Школе для дураков»!

У поклонников и ценителей — целый ворох отменных мнений приготовлен для Саши. Ценят. Понимают. Осознают.

Вот и ладно. И хорошо.

И что там, допустим, какой-нибудь Кублановский, ишь ты, знаток, с его собственным убеждением в том, что «Школа для дураков» и «Между собакой и волком» — хорошие книги, особенно первая, а «Палисандрия» — высосана из пальца!

Да поклонники рьяные Сашины его просто-напросто в ключья, и немедленно, разорвут.

Когда я сказал об этом однажды, случайно, Саше, он и сам вскипел моментально, даже больше, в ярость пришел.

Ишь ты, Куб, такой-растакой, — имеет свое мнение!

Да Сашу-то Соколова, уж если на то пошло, в отличие от иных его товарищей бывших по СМОГУ, некоторые серьезные, просвещенные, видимо, граждане, образованные, чай, не в школах учились для дураков, между собакой и волком не стояли, не зная толком, куда им теперь податься, избранным, вон как хвалят!

Сам Андрей Сергеев, представьте, зарубите себе на носу, запишите, для памяти, в книжечку записную, и тот сказал, что из всех смогистов один Саша вышел-таки в писатели, да еще и Лимонова он страсть как любит, с ним заодно.

А уж питерский умник первейший и разумник Витя Кривулин — тот в статейке своей одной, без всякого там стеснения, ему вообще не свойственного, чего, мол, с ними, соперниками первейшими, нынче миндальничать, с апломбом глупым и с грубостью неприкрытой, нахально, с наглостью, почти блатной, заявил, что все смогисты, все оптом, по его, разумника, мнению непреложному, были brutальными, а вот Саша — да, это писатель!

Вспоминаю порой Кривулина, с плутовскими его повадками, с обещаниями туманными, никогда им не выполняемыми, с обманом, бывшим, наверное, у него в порядке вещей, со склонностью бабской к сплетничанью, к перемалыванью костей чьих-то беззубым ртом, поистине с очевидной, врожденной, возможно, brutальностью, и вижу: да, высоко сидел, далеко глядел питерский, доморощенный, болотный интеллигент, с его-то, наружу лезущей из каждого взгляда, ревностью и завистью откровенной ко всем, кто, в слове и в деле всей жизни, лучше него, с его-то защитой родственной, кагэбэшной, как пояснили мне выдавшие виды питерцы, от всяческих бед и невзгод.

Мне Сашина проза — давно уже интересна. Такая, как есть.

Такая, какую он, упрямо, целенаправленно, годами учился писать.

Проза, которую он писать научился. Сумел.

Смог. Не напрасно был — в СМОГе.

Не свернул в былом с полдороги.

В пути был по-своему смел.

Добрался до цели, пусть — поздно.

Смотрел на дело серьезно.

Пытался прозу с поэзией в тексте объединить.

Получилось ли? Сами решайте. Кто сумеет вам объяснить?

Проза ушла в поэзию.

Поэзия в прозу пришла.

Саша ходил — по лезвию?

Чего? Своего ремесла?

Грани чувствовал разные.

Новизны полет ощущал.

Проза — дело не праздное.

Он, как мог, ее защищал.

Он прощал ей — ее амбиции.

Он искал ей — в обход пути.

Он по-своему чтит традиции.

Он собрал их в клубок. Почти.

Вышел с нитью — во тьму кромешную.

Лабиринт обошел — стороной.

Предпочел ему — жизнь неспешную.

Не за каменной стеной.

За кордоном. Лесным? За Волгою?

Нет, конечно. Совсем иным.

Тот-то сон не в сон ночью долгою.

Расставаться грешно с родным.

Почитайте книги прозта, как себя называет Саша, под чужими живя небесами.

Ибо книги всегда, в отличие от поклонников ошалелых, говорят за себя — сами.

Его романы, (а может быть, повести, или поэмы, или, в пространстве, проемы, или, во времени, темы, или, сквозь время, драмы, и, сквозь пространство, думы, или — оконные рамы в сердцевине лесного шума, или — открытые двери, или — страстей сплетенья, или — сплошные потери, или — сквозь век — обретенья) будут переводиться на различные языки, читаться в оригинале на родине и в зарубежье.

На склоне восьмидесятых один мой давний знакомый, надумав меня порадовать, отправит мне из Нью-Йорка посылку с хорошими книгами, будет среди которых и Сашина «Палисандрия».

Посылка придет — с извещением от таможенников, о том, что изъяты ими две книги: «Палисандрия» — за порнографию, да книжка художника Славы Сысоева (как называется книжка, я позабыл) — вроде за антисоветчину.

Наверное, очень хотелось таможенникам образованным, прекрасно организованным, с чувством, с толком, с должным вниманием почитать на досуге Сашин почти скандальный роман.

А тут и случай, смотрите-ка, действительно подходящий.

Изъяли роман — да и стали, вздох конечно, читать.

По очереди. С интересом.

В ногу с веком. Но не с прогрессом.

Какое там! Тьма ведь тьмущая соблазнов. В итоге — стресс.

Такой уж был к Сашиной прозе таможенный интерес.

В годы нашей невероятной, слишком щедрой на все, что с нами то и дело происходило, то ли молодости наивной, то ли зрелости слишком ранней, то ли молодости и зрелости, сразу ставшей одним понятием, словом слитным, легко читаемым, но с трудом, к тому же немалым, всеми нами осознаваемым, в годы молодости, поры небывалой, где мы, бывало (словно отзвуки карнавала, словно призывки той игры, где непросто было узнать, кто есть кто, для кого на свете есть прогулки по всей планете, а кому тишине внимать в отрешенье от всех, в глуши, где спокойствие для души не отыщется без волнения, где годятся все впечатленья для работы, для речи, где не кругами ли по воде разошлись молодые взгляды, где уже ничего не надо, чтобы выситься в стороне, под звездой в ночном окне), в годы молодости, где мы принимали седое время как волшебный пролог к поэме, как разбег и выход из тьмы, к свету, к счастью, к свободе, к снам вместо яви и, в сновиденьях, снова яви, чтоб впредь, в раденьях, закалиться всем именам, никогда нельзя было, нет, невозможно было, вот слово точнее, предугадать, что предпримет в дальнейшем Саша, каковы ходы и изгибы его мышления, действий.

Вот, например, характерный, показательный очень случай.

Решил в шестьдесят седьмом году, в хорошую пору, когда родная природа ожила, и в мире тепло, и ветер встал на крыло, и солнце всюду лучится, и жаркая кровь струится по жилам, и сердце биться сильнее готово, Саша Соколов, холостяк, жениться.

На ком? На Тае Суворовой.

Пригласил меня, друга-смогиста, с тогдашней моей женой молодой, Наташей Кутузовой, к себе, смогисту, на свадьбу.

На дачу свою. В Апрелевку.

В поместье свое. Почти.

По тем временам — поместье.

Был обрадован я этой вестью.

Друг надумал — семью завести.

(Друг позвал меня в гости к себе.

Как Толстой — друга Фета. Прекрасно!

Как Фет — Полонского. Ясно.

Как-то связаны мы по судьбе.

Тридцать с хвостиком лет прошло.

Я позвал его в гости. Дудки!

Нету Саши. Ну что за шутки?

Ни гу-гу. Все быльем поросло?

Нет ни весточки, ни привета.

Где он, Саша? Вот адрес: где-то.

В настоящем? Иль в прошлом? Там.

А в грядущем — напишет сам.

Позовет еще. Я — приду.

Отведу от него беду.

Помогу ему, если надо.

Трудновато — тащить из ада.

А в раю — хорошо ему.

Я, наверно, его пойму.

Грусть пройдет. Пусть — кольнув иглою...)

А теперь — возвращусь в былое.

Мы приехали. Май, наверное. А то и начало июня.

За городом хорошо. Свежий воздух. Зелено всюду. Птицы вокруг поют.

Свадьба длится. Гости, как водится, выпивают, галдят, закусьвают.

А Саша стоит в стороне от всех — и смотрит в окно.

Долго, пристально, грустно смотрит.

В совершенном отъединении, от всего вокруг и от всех.

Словно стеной высокой от яви отгородился.

Стоит — и молчит угрюмо.

Взгляд его — из-под челки, неровной, на лоб нависшей, — куда-то туда, в заоконное пространство, на волю, рвется.

Сам он — вроде бы здесь находится..

Ну, стоит, молчит. Что ж, бывает.

Взгляд его — не здесь, а в пространстве.

Заоконном. А вдруг — зазеркальном?

Все возможно. Все вероятно.

Свадьба. Гости. Подарки. Вино.

Молодая супруга. Цветы.
Дача. Молодость. Что еще надо?
А Саша стоит — и молчит.
И смотрит — в даль законную.

Птичка к окну прилетела.
Постучалась клювом в стекло.
Поздоровалась. Почтирикала.
И куда-то вновь улетела.

(Постучится к нему — свобода.
Словно пятое время года.
Окрылит. Озарение? Ода?
Что за этим последует вдруг?
Все, что будет — потом. Когда-то.
Вскоре, может быть. Явь — крылата.
У нее-то — ума палата.
Не случаен был — птичий стук.

Тук-тук-тук. И время настанет.
Свет померкнет. И гром не грянет.
Кто-то раньше, чем прежде, встанет.
Кто-то выронит мяч из рук.

Тук-тук. И кого-то — нету.
Ищи-ка по белу свету.
Хоть всю обойди планету.
По экватору сделай круг.

Вот и все. И решенье — зреет.
Лучше печки зимою греет.
И пространством грядущим веет.
Из-за леса. С кордона. Тук.)

Тая, его жена, родом была из Ставрополя.

Мать специально к свадьбе передала ей огромную корзину плетеную, доверху, даже выше, горкой, наполненную куриными свежими яйцами.

Корзина эта стояла на столе, в стороне, рядом с Сашей.

И вот Соколов Саша, молчаливый, глядящий в окно, от всего сейчас отрешенный, от всех, пусть и временно даже, но все-таки отъединенный, спокойно, меланхолично, берет сырое яйцо из огромной плетеной корзины.

Разбивает его. Выпивает.

Кладет на стол скорлупу.

Берет другое яйцо.

Разбив скорлупу, выпивает.

Берет и третье яйцо.

И тут же его выпивает.

Потом — берет он четвертое.

И так далее. И так далее.

Одно яйцо за другим.

Отрешенно. Меланхолично.

И при этом молчит и смотрит куда-то вдаль, за окно.

Яйцо за яйцом достает из огромной корзины. Спокойно.

Как ни в чем не бывало. Молча.

Выпивает. Опять берет.

Когда, у меня на глазах, число яиц из корзины, ставропольских, сырых, выпитых только что Сашей Соколовым, перевалило за два десятка и, видимо, конца такому питью, яичному, необычному, пока еще не предвиделось, я спросил его:

— Саша, тебе, случайно, не заплохеет?

Ничего не ответил Саша.

Посмотрел на меня — и вздохнул.

И опять за окно уставился.

И опять продолжал пить яйца.

Достает яйцо. Разбивает. Выпивает. Опять берет.

И так вот, покуда не выпил четыре десятка яиц.

Что прозревал он в пространстве законном — сказать мне трудно.

Но подпитка сырыми яйцами в этом явно ему помогла...

Я вспомнил сейчас характерный эпизод из фильма Феллини, замечательного, «Казанова».

Там герой, готовясь привычно к любовной битве, приказывает принести ему поскорее какое-то очень точное, не больше, но и никак не меньше, чтоб в аккурат по счету было, количество сырых куриных яиц — и выпивает их, все, одно за другим, а потом, у любопытных зрителей почти на виду, занимается с некоей добровольно вызвавшейся, почему бы и нет, мол, была не была, попробуем, каково же быть с ним, вперед, партнершей, весьма симпатичной дамой, любовью, с большим успехом, под одобрительный гул собравшихся, с удовольствием считавших, раз, еще раз, число любовных побед...

Но зачем было Саше пить столько сырых яиц?

Может быть, эти выпитые Сашей на даче, на свадьбе, четыре десятка яиц превратились в четыре написанных им, потом, со временем, книги — три романа да сборник эссе?

Все у нас может быть, уважаемые сограждане.

Все у нас далеко не случайно, и давно уж, поверьте на слово.

Есть всему начало. Житейское.

Но — с мистическим неким оттенком.

Есть всему разрешение — творческое.

Там без мистики — вовсе нельзя.

Везде и всегда в сознании этого неразговорчивого, угрюмого с виду, слишком уж, казалось кое-кому из приятелей, сосредоточенного в себе, в глубине, закрытой для всех вокруг, навсегда, стройного парня, в ковбойке, с косо подстриженной челкой, смотревшего на собеседника вроде бы и в упор и одновременно как будто бы откуда-то издалека, происходила огромная, непрерывная, напряженная, — только ему одному и никому другому понятная, до конца ли, возможно, и сам не знал он, и лишь чутье приводило туда, куда надо, — работа.

Его потянет к себе — воля, в русском, исконном понимании этого слова.

Воля, за коей — доля?

В которой — пуды соли?

И предостаточно — боли?

Не знаю. Кто скажет, к какой готовил себя он роли!

Одного лишь воина в поле?

Отшельника странного, что ли?

Или просто — ринется вдруг, прямо с места в карьер, на волю, чтобы забыть городскую неволю, где пылью с крылышек моли сыплется серая скука, превращая в давно заигранной, заезженной музыке дня дизель в сплошные бемоли, а их — в пары алкоголя, в смурные, дурные недели, в ноябри — зачастую, пожалуй, и пореже, наверно, — в апрели, в то, что есть не в мечтах, а на деле?

Он потянется молча к дали, а может быть — к некоей цели. Что за цель — он в пути разберется своим.

Будет выбор широк и далек оком.

Он повидает просторы Союза. Не всю страну, велика она, необъятна, и объехать ее непросто, если даже захочешь этого, но кое-что повидает.

Журналист по профессии, будет служить он, вполне по-советски, как и все остальные граждане, получая за это зарплату, в «Литературной России», в провинциальных изданиях.

Выпустит не любимую им первую книжку прозы.

Дальше пойдут чередой — сплошные метаморфозы.

Вскоре перечень, в общем-то, скромный, различных его работ совпадет с «джентльменским набором» тогдашних его товарищей. Не совсем. Отчасти, конечно.

Положим, сторожевание.

На дежурствах ночных гужевание.

Но придет еще и пребывание на далеком лесном кордоне.

А потом он стремительно вырвется из капкана, который будто бы для него давно, специально в советском таился законе.

Понятно, что примитивно понятому, квартирному, бытовому до безобразия, не его, и все тут, укладу жизни, Саша будет и впредь предпочитать свободу, такую, какой для себя он ее представляет.

Но он хорошо постарается углубить и расширить и это расплывчатое понятие.

Вот и в Штатах, и позже, в Канаде, насколько известно мне, будет жить он особняком, подальше от городов, шумных, больших. И — работать. Прозу свою писать.

Потом по неясной причине — переберется в Грецию.

Вроде поближе к родине, да и поинтереснее, чем Америка, поновее древняя эта страна.

В том смысле, что манит она, пока еще им не изведенная.

К тому же еще и теплая.

Купайся себе на здоровье в море, валяй, хоть зимой.

Острова. Лазурные бухты.

Скалистые берега.

Загорелые, добрые люди, спящие после обеда и поэтому, как известно, живущие по сто лет.

Апельсины и мандарины.

Теплоходы и лимузины.

Мокасины и магазины.

Пляжи. Олимп в окне.

Афины. Акрополь. Маслины.
Сладкие, легкие вина.
Вилла. Часы у камина.
Письмо от него — ко мне.

Потом наконец-то приедет он и в Москву. Здесь его будут — ждать. Привечать. Здесь он будет — нужен. Жаль, что с теми, с кем был он дружен в молодые года, не всегда повидаться по-настоящему он сумеет. С людьми деловыми разговоры — куда важнее. Кругозор — он куда нужнее, чем наивность воспоминаний, сантименты. И вот он — спрячется. Чтобы издали, из укрытия своего, иногда выглядывая, самому во всем разобраться, все увидеть и все решить.

Путь его романов на родину будет быстрым и — поначалу — чуть ли не триумфальным. Предпосылки триумфа — будут.

Помешает — постперестроечный, с разгулявшейся как бы свободой, с червоточиной книжно-журнальной, с чертовщиной, ничем не прикрытой, с матерщиной, на сборища прущей, с бесовщиной, из мрака встающей, — на столичном ветру — кавардак.

Книги Шашины, все четыре, станут читать в России с интересом и перечитывать — это ли не признание!

Их, после прежних изданий, зарубежных, малодоступных, издадут, по новой, как водится, во пределах родных, — у нас.

Соколов Михалик, задумчивый, обстоятельный человек, будет жить, казалось нам всем, относительно благополучно, у него будет дом, работа, и так далее, — но, однако, эта внешняя, очень условная, примитивная даже, линия долго будет не совпадать с иной совершенно линией, внутренней, скрытой от всех, с ее мятежами и срывами, победами, трудноватыми, иногда, над самим собой.

Несколько позже, потом, с возрастом, эта линия томящейся в мире души станет более определенной, даст силы и равновесие.

Михалик, друг моих лет молодых, — человек терпеливый.

Если его донимает физическая, действительно неприятная, долгая боль, ну, допустим, гвоздь в башмаке, — он просто будет страдать, но стойко, упрямо терпеть.

Никому ничего не скажет.

Сам все вытерпит. Сам все пройдет.

И так — с любой бедой и любой, даже страшной, болью.

Михалик, рыцарь печальный, — человек, от природы, совестливый.

Если он что-то, случайно, ненароком, понатворит, если в чем-то вдруг согрешит, и это его станет мучить, покоя ему не давать, — он обязательно в этом покается. Так уж он, поймите его, устроен. Признается — и на душе легче сразу же станет.

И вроде можно теперь дальше существовать.

Михалик, седой затворник, — человек удивительно умный.

Начитанный. Образованный серьезно, по-настоящему.

До мозга костей — творческий.

Внутри себя самого — навсегда, очевидно, собранный.

И работать — давно умеющий.

Призванный — сделать то, что один он способен сделать: создать свои книги. Такие, в которых поэзия — главное.

Вместе с тем это — и современное, превосходное искусствоведение.
Это — и философия.
Это — и эссеистика.
Вот какой сложный жанр. Синтез. И слава богу, что пишет он свои книги.
В отличие от остальных нынешних искусствоведов, он — умеет писать.

Михалик, поэт, мыслитель, сформируется как человек, как настоящий, русский, московский, интеллигент.

Почему я так говорю?

Да потому, что слова другого не подберу.

Ну как его можно назвать еще?

Ученым? Ну да. Конечно.

А еще? Да просто, без всяких эпитетов, — человеком.

Таким, каков уж он есть.

И это, поверьте, — много.

И надеюсь я, в дни междувременья, что он мне все-таки — друг.

Он станет с годами крупным, очень крупным искусствоведом, знатоком превосходным искусств, и западного, и русского.

Все, что написано им, останется, знаю, надолго.

Коля Боков просто не выдержит бессмыслицы монотонной застойных томительных лет.

Некоторые, небось из нынешних, могут сказать: ишь ты, как заковыристо, с какую трагической ноткой, говорю я теперь о прошлом.

Но именно так ведь и было!

Бессмыслица. Бред. Абсурд.

Конечно же, понимаю: и сейчас — примерно все то же.

Так — и все же не так.

Угол зрения изменился.

Бессмыслица стала иной — новоявленной, постмодернистской.

Бред открыл свои карты крапленые.

Абсурд свои цепкие корни в почву охотно пустил.

Изменились не сами понятия эти, нет, не они.

Изменилось — значение их.

Новых слов — не придумали. Некогда.

Вот и пользуемся пока что — старыми. Всем привычными. Привнося в них окраску новую. Звук иной. Тон придав им другой.

А бессмыслица лет застойных — всех нас, помнящих до сих пор, что за зверь такой эта самая, пречудовищная бессмыслица, в разной степени, разумеется, больше, меньше ли, но касалась.

Всех она, без разбору, затронула.

Кого-то — запросто съела.

А кого-то — никак не смогла.

Оказался ей не по зубам он.

И его, понимая, что грызть бесполезно, глядишь и подавишься, изводила годами она.

Жизнь земную, свыше дарованную, превращала она в кошмар.

Коля Боков решит от нее, надоевшей донельзя, — бежать.

Судьба забросит его не куда-нибудь, а во Францию.

Страна хорошая. Видел своими глазами, сам.

Там вполне можно жить, наверное.

Существовать, вернее.

Потому что нашему русскому, непохожему на обитателей закордонного мнимого рая, горделивому человеку на чужой земле, да пускай распрекрасна она, согласен, — тошно все-таки находится.

Так я думаю, так считаю.

Некоторые из нынешних эмигрантов, мои знакомые, — согласятся, наверно, со мною.

Остальным — там удобно, пожалуй.

Привыкли. Как-то привыкли.

Богема. Ошметки орды.

Свобода для них, богемщиков со стажем, — куда как важна. Есть и более деловые.

И практичные. Даже очень.

С жесткой, прямо железной, хваткой.

С личной, эгоистичной, выгодой.

С установкой внутренней давней: для достижения цели все средства равно хороши.

Таким все равно, где жить.

Хоть на Марсе. Хоть на Венере.

Лишь бы там им вполне комфортно и всегда спокойно жилось.

Есть и такие меж нынешних эмигрантов третьей волны, что и там, в прекраснейшей Франции, не сумели никак прижиться — и даже, бывали случаи, умирали, вкусив свободы и лишившись почвы родной.

Там, во Франции, под Парижем, в Монжероне, замке старинном, поселившись в пустынной, холодной, у ворот приткнувшейся башне, Коля Боков начнет привыкать к новой жизни, уже — заграничной.

Там и станет он издавать свой журнал небольшой, «Ковчег». Напечатает в нем знакомых. Далеко не всех, разумеется. Но и то хорошо, что кого-то напечатает. Этот журнал доберется до родины. Здесь почитают его — и вспомнят Колю Бокова: надо же, братцы! — был писателем самиздатовским, стал — издателем. Ну, дела!..

Там, во Франции, выпустит он свои книги. Одну из них принес мне как-то Марк Ляндю, старый Колин приятель, поэт и тоже смогист.

Я хотел напечатать в большой антологии СМОГа, которую сам, без помощи прочих смогистов, как бывает всегда, составлял на исходе восьмидесятых, Колину повесть «Бестселлер».

Ничего не вышло с изданием, к сожалению. Книгу я отдал. Колю — часто потом вспоминал.

Интереснейший, безусловно, по-своему, русское слово чувствующий прозаик, там, во Франции, в эмиграции, он с ужасом ощутит, что утрачивает на чужбине вечную, душу врачующую, спасительную новизну родной драгоценной речи.

Возникнут нежданно конфликты, неприятные, острые, грустные, с окружающими людьми.

С эмигрантами, разумеется.

Не хочу вдаваться в подробности.

Хотя кое-что — мне рассказывали.

В этих дрязгах, скандалах, схватках, то ли за место под солнцем, то ли еще за что-то, более приземленное, Коля Боков, борец за правду в стане выгод и клановых склок, эмигрантских, ожесточенных, беспощадных, — увы, пострадал.

Там, во Франции благословенной, где, казалось бы, вроде живи себе как хочешь, на всю катушку, наверстывай все, упущенное в былые годы, сполна, и счастлив будь на свободе, все окажется, на поверку, для Коли, во всяком случае, не таким уж и замечательным, идиллическим и лирическим, благодатным и благословенным, как поначалу, в розовом свете еще, представлялось.

Мир жесток. Не только в Союзе.

И на Западе он — жесток.

Усилится ощущение одиночества беспросветного — и все, косяком, приложится, что с ощущением этим горьким сопряжено.

Потом будет — Колин уход.

Не куда-нибудь на прогулку, положим. Или — в запой. Или — в работу новую, творческую, серьезную. Или — в себя, чтобы там во всем самому разобраться.

Нет, будет уход — в монастырь.

Там, во Франции, в дивной стране, благодатной, гостеприимной.

И не просто ведь в монастырь.

Но, представьте себе, — в пещеру.

В яму, вырытую для себя.

Собственноручно. Старательно.

В глубь земли благодатной французской.

В яму темную. Как в зиндан.

Был — кавказский пленник, из повести — школу помните? — Льва Толстого.

Коля Боков, писатель русский, стал в конце двадцатого века добровольно — французским пленником.

Он сам заточил себя.

Был у себя в плену.

Добровольном. Самостоятельном.

Был в плену он — у одиночества, незаемного, своего.

У своих состояний аховых.

У безмерной своей тоски.

Но, впрочем, я не заглядывал в пещеру эту — и толком не знаю до сей поры, у кого там и у чего был в подземном плену Коля Боков.

Станет он человеком религиозным вскоре.

Легче ведь на земле с верой существовать.

Под землей французской — тем более.

В пещере. В яме глубокой.

В темноте. Заграничной. Кромешной.

В забвении. Запредельном.

В затворе. Своем. Долговременном.

Заточение — это учение.

Суровое. Так полагается.

Будет боковское затворничество — наивысшей, пожалуй, школой.

Строгой. Долгой. Но и — полезной.

Он — очнется. Вдруг пробудится.

Как труху, стряхнет все ненужное.

Он станет в пещере — мыслить.

Жить — мыслью, верою своей.

Он станет кротким, как голубь, и тихо, светло задумчивым, сохранив при этом всю прежнюю неистовость, вглубь ушедшую, подспудную, пробуждения до нужного времени ждущую, всю прежнюю смелость свою.

Словом, станет новым, действительно свет узревшим во тьме человеком.
Так об этом всегда говорят.
Возрождение, преображение — не пустые слова, не напрасные.
Жизнь в пещере, в яме французской, будет длиться годы и годы.
Тоже — путь ведь, если понять этот путь, как движение к свету.
К сути, к вере — нелегкий путь.
Путь — духовный. А что потом?
Слава богу — пускай и нескорое, но желанное возрождение.
Восставание — прямо из бездны.
Появление, сызнова, — на людях.
Проявление, наконец, в ипостаси новой, себя.
Нахождение, вновь, себя — как писателя — в новых жанрах и открытых им областях.
Он снова будет писать, но уже не такую, как прежде, а религиозную прозу.
И даже начнет ее постепенно публиковать.

Однажды мы спишемся с ним.
Спишется с ним и Михалик Соколов — и Коля пришлет ему образцы своей новой, религиозной прозы.
Притчи, проповеди, рассуждения.
Интересная проза. Хорошая.
Очень боковская, несмотря на то, что вовсе не светская, а именно религиозная.
Когда в девяносто седьмом году буду я составлять для киевского журнала «Византийский ангел» подборку текстов участников СМОГа, я включу в нее Колину вещь — и в журнале ее напечатают.
Экземпляр журнала — для Коли — находится у меня.
Кажется, передавал я ему, со своим знакомым, еще один экземпляр.
Добрался ли он до пещеры, до боковской ямы французской?
Не было никаких об этом, от Коли, вестей.
Может, выбрался он уже из своей глубокой пещеры?
Насиделся, чай, истомился в темноте, под землей чужой.
Выбираться пора на свет Божий. Так я считаю.
Да и Коля, наверняка, так, давно уже, сам считает.
Он — писатель. Причем прирожденный.
Не писать он — просто не может.
Значит, к людям тянется снова.
Там, во Франции? Или в России?
Где он, Боков? Что с ним — сейчас?

Арсений Чанышев будет работать, как и всегда, непрерывно и очень много.
Напишет он и издаст немало своих философских, весьма серьезных трудов.
И по крохам буквально лишь считанные — из превеликого множества, лежащего в чемоданах старых, — свои стихи.

Преподавателя Чанышева Арсения Николаевича в девяносто шестом году будет кафедра философии МГУ, на одном из бесчисленных этажей высотного здания вовсе уже не на Ленинских, название вновь изменилось, на Воробьевых горах, дружно, шумно, торжественно чествовать с юбилеем — в апреле Арсению Чанышеву исполнится семьдесят лет.

И я там буду присутствовать — и радоваться за старого, со времени СМОГа, друга.

Сотрудники, или соратники, не знаю, как их назвать, сослуживцами как-то не хочется, товарищи, что ли, по кафедре, произнеся с подъемом все наилучшие тосты, выпив за юбиляра, вставая один за другим, вздохнув, любя, обожая, примутся вдруг читать вдохновенно — стихи Арсения.

А седой, глуховатый, усталый, но все-таки взбудораженный, взволнованный, но отрешенный от шума, от суеты, всегда и везде, в любых обстоятельствах, — сам по себе, отдельно от всех остальных, внутри себя самого, над собою самим паря, перед самим собою оказываясь невольным, раздваиваясь, растворяясь во времени и пространстве — и вновь собираясь, являясь целостным, сквозь года, невысокий, живой, светлицый, со всклоченной шевелюрой, со всей непростой своей жизнью, нелепой, но и прекрасной, трагической, но и радостной, драматической, это уж точно, человеческой, преподавательской, философской, смогистской, отцовской, с такой, какова уж есть, с поэзией, с будничной прозой, с женами и с друзьями, с отшельничеством, с путешествиями, с московским университетом, со светом в глазах, со словами не сказанными и сказанными, со всем несказанным, особым, что есть в нем, седой Арсений — будет молчать и грустить.

Вот взяла бы да издала бы кафедра философии большую, прекрасную книгу чанышевских стихов. Доставила бы человеку радость, в его-то летах!

Философ Арсений Чанышев — это поэт, современный, русский, Арсений Прохожий. И что же? Одной ногой стоит он в своей философии, а другой, выходит, — в поэзии? Как бы не так! Он — весь — вот он, смотрите, читайте, постарайтесь его понять и принять в свое сердце, — поэт.

Это я знаю давно и твердо. Люблю стихи его. В них — голос Арсения слышу, неповторимый голос.

Он поэт — каких мало. Особенный.

Речь его — это русская речь.

Саша Урусов окажется, насколько известно мне, в Италии. Так ли? Кто скажет? Что его туда занесет? Может, крик муравьев далеких услышит? Бывает — всякое. Особенно — со смогистами. Тем более — с модернистами. Будет ли там писать — не знаю. Может, считаю, писать. Если крик услышит. Спросите — у муравьев.

Марк Янкевич создаст свою фирму, в годы свободы отечественной, — «Московская палитра». Будет устраивать выставки современной, авангардной, новейшей живописи. Дело, насколько знаю, хорошо у него пойдет. С размахом, по нарастающей. В мире арт-бизнеса он станет заметной фигурой.

Но вдруг погибнет в аварии его единственный сын. Марк затоскует. И станет, все чаще, все больше, пить. Прежнее жизнелюбие его куда-то исчезнет. Круг замкнется. И он умрет.

Говорили мне, что писал он все-таки свою прозу. Тридцать семь уже долгих лет ни строки из нее не читал.

Сергея Морозов писать стихи свои не перестанет.

Жить он будет скромно и тихо. Как цветок. Василек полевой. Перенервничав как-то, в сложной ситуации, в час недобрый, бросится вниз с балкона — и разобьется насмерть.

Коля Недбайло начнет устраивать свои выставки.

С боем, сквозь все преграды, заковырки и сложности времени, сквозь запреты, но — выставляться.

Наберется их у него — сотни три в итоге. Не меньше.

На этих выставках он будет читать свои программные, эпатажные, шокирующие зрителей интеллигентных стихи.

Например, на солидной выставке персональной, в музее Скрябина.

В коротких своих, выше щиколоток, внизу мохрящихся брюках, в музейных, с тесемками, тапочках, на фоне собственных, броских, эффектных произведений, вдруг, неожиданно, вперед шагнув по-смогистски, расправив плечи, вдохновенно закинув голову, отбивая рукою ритм, к изумлению посетителей, громко, этак по-молодецки:

— На помойке, ах, на помойке!..

Маленький, да удаленький.

Сметливый. Весьма практичный.

Когда надо, для дела, — трезвый.

После дела — всегда под хмельком.

Любил демонстрировать, на людях, чтобы видели, скромность свою. Наивность даже. Наигранную.

Ну прямо такой вот застенчивый мужичок, почти от сохи. Но любил себя и возвеличивать.

— Великий русский художник Николай Недбайло! — вот так в мастерской о себе говорил, с приятелями, попивая холодненькое пивко, а то и напитки покрепче.

Бороду отрастил, принадлежность к богеме подчеркивал. Волосы — так до плеч.

Шляпа — с полями широкими.

Только брюки остались — короткими.

В остальном было все — с размахом.

Будет все у него — и гульба, и жены, и дети, и выставки. Примитив для себя открыв, он и его освоит. Работы будут, естественно, — с размахом нужным. Огромными. В пол-стены. Зато — примитивы.

Разработок прежних своих — не забросит. Наоборот, станет их тиражировать: купят!

И, конечно же, покупали. В основном — те, кого называли НТР. И не только они.

Производство есть производство. В нем поставлено все на поток.

Наплевать, что подумают. Важно — быть в работе всегда. В ней он — был. И, наверное, будет и впредь. Пусть. Куда от нее деваться? Лучше так, чем вовсе никак.

Держаться он будет стойко.

Названный троглодитами из высоких инстанций, чиновниками тупыми, «идеологическим диверсантом», — ну что за формула, кто ее изобрел и когда, неизвестно, меж тем она срабатывала безотказно, похлеще статьи расстрельной, — он, человек упрямый, волевой, не уступит позиций.

Спровоцируют, разумеется, «дело» о тунеядстве.

Обвинят художника в том, что он нигде не работает, — это его-то, работающего всю жизнь свою, в поте лица!

Пусть это, в смысле художественном, большей своей частью было пусть и добротным, но ремесленничеством все-таки.

Но человек действительно трудился. На хлеб зарабатывал. И не только на хлеб. И на выпивку всегда почему-то хватало. И даже на развлечения.

Как умел он, так и работал.

Мастеровой? Ну и ладушки.

Это надо тоже уметь.

А тут, смотрите-ка, шьют не что-нибудь, а тунеядство.

Отправят его подальше от Москвы, куда-то на Север, в снежную тундру, в ссылку. Но и там, в этой тундре, он станет заниматься делом своим, то есть каждый день рисовать.

Например, по заказу блатных — голых баб, для души и для сердца, — и, понятно, чтоб любоваться на такую вот красоту — в глухомани, вдали от жизни, о которой только мечтать остается — да тихо вздыхать, глядя вот на такие картинки.

Зауважают его: свой художник — и парень свой, то, что надо. Коля впоследствии о своем пребывании в ссылке, где сумел он себя поставить и пристроиться очень неплохо, несмотря на тоску по столице, будет, выпив и вдруг расчувствовавшись, проясняя детали, подробности, с явной грустью, почти ностальгически, много раз еще вспоминать.

Деловые друзья, солидные, — не смогли бы вовсе, ну что вы! — помогут ему, страдальцу, вернуться домой раньше срока.

Деловые друзья разовьют бешеную, грандиозную, по масштабам и темпам, деятельность среди советских маститых литераторов и художников, соберут они множество подписей в защиту Коли — и вытащат его, раньше срока, так-то вот, из северного заточения.

Почти с триумфом пройдет недбайловское возвращение, из тундры промозглой, в столицу.

С несомненным, во всяком случае, с торжеством над напрасно и рано торжествовавшей нечистью.

Его со временем даже оправдают. Пускай и нехотя, но признают, что человек все-таки много работал.

Доказательств работы этой было сколько угодно, с избытком. Продуктивностью Коля Недбайло отличался всегда удивительной.

Производительность Колиного, за себя давно говорящего достаточно красноречиво, лучше всех адвокатов, труда была на высоком уровне.

С выполнением регулярным и нередким перевыполнением всяких возможных планов.

Против таких очевидных, для всех и каждого, фактов гонителям и губителям искусства нечего было, само собой, возразить.

И художник вновь ощутит себя на верном пути к обязательным новым победам.

Сотни три, ну никак не меньше, его персональных выставок — пройдут, успешно пройдут сквозь коварную мглу безвременья.

Губановский друг Володя Бережков будет жить как все, год за годом, растить детей, перебиваться скудными заработками советского, в скромной должности, служащего.

И — сочинять все новые, всегда интересные песни.

Некоторые из них — на губановские стихи.

Потом наконец решится на единственно верный шаг: начнет выступать с концертами и получит вскоре известность как один из ярких, значительных современных московских бардов.

Василий Яковлевич Ситников, человек сугубо московский, российский, дни свои закончит в Нью-Йорке.

Незадолго до смерти его, в одиночестве и нищете, поэт, собиратель текстов самиздатовских, составитель антологий огромных и сборников поскромнее Костя Кузьминский успеет собрать воедино его письма, записки о времени.

Будут жить в Москве и работать Тарон Гарибян — и, наверное, оба Коли, один — Калугин, а другой, вслед за ним, — Сенкевич...

Кипение непрерывное,
радение, пусть и надрывное,
непрестанный водоворот,
со смешением утрат и щедрот,
удивительной нашей жизни
в небывалой нашей отчизне,
удивительной потому,
что никак ее не пойму,
что доселе она удивляет,
истомив — опять исцеляет,
продлевает свои капризы,
преподносит порой сюрпризы,
да такие, что диву даешься,
то ли плачешь, то ли смеешься,
или, может быть, негодуешь,
или в ус, как и встарь, не дуешь,
или сердисься на кого-то,
или что-то с пол-оборота
вдруг заводит и возмущает,
но душа моя всех прощает,
всех в итоге благословляет,
принимает и прославляет, —
сквозь былые пройдя года,
не закончатся никогда.

Однажды начавшись, они продолжатся. Да еще как! Разовьются в такие ветвистые, мохристые завихрения — у некоторых, разумеется, из нас, далеко не у всех, — что слишком уж долго, с мучениями, придется из них выбираться.

Невозможно им прекратиться.

Чуть затихнув, казалось бы, все-таки поуспокоившись малость, оживают они по новой, как и некогда, и ведут за собой, временами — некстати.

Но — природа их такова, что должны в себя они втягивать человека, опять испытывать, вынуждать защищаться, сражаться — с обстоятельствами житейскими или с мельницами ветряными — да не все ли равно? — поистине все едино для сердца, сумевшего в круговерти не ожесточиться, для души, сумевшей с годами от бесчасья не зачерстветь.

Никакой статичности, дремы.

Лишь движенье. Лишь пребыванье в бесконечном этом движенье.

Исполинский, вселенский круг.

Но — различны судьбы, различны биографии, и писания, не чьи-нибудь там, а наши, выстраданные, собственные, все творческое, человеческое, духовное, личное, кровное, — и разбросает всех нас по белому свету, в разные, на север, на юг, на восток, на запад, выбор широк, и куда-то еще, в зазеркалье ли, в поднебесье ли, кто его знает, кто подскажет, спросить-то не у кого, за незримую грань, пожалуй, в ад ли, в рай ли, не догадаешься, не узнаешь вовеки, стороны, и концов никогда не сыщешь, и следов нигде не найдешь, и узлов из разорванных нитей, как ни бейся, сроду не свяжешь, —

и скажутся все былые, летаргически-оцепенелые, прожитые, между тем, из упрямства, на воле сплошной, пережитые, однако, нами, уж как получилось, как вышло, как удалось, жестокие, временами жуткие, беспросветные, казалось порой, безотрадные, но все-таки дорогие для меня, прекрасные годы, с их ненастьем, с их светом ясным, с их абсурдом, с их адом крошечным, с их наивным, внутри сберегаемым, недоступным для пошлости, раем, и не только они, но и все вообще, земное, небесное, бесконечное и чудесное, из чего слагается жизнь, —

и снег в январе налетит, пусть уже не такой, как когда-то, не сухой и морозно-звонкий, а совсем сырой, — не от слез ли? — и засыплет стежки-дорожки, по которым бродили мы встарь, — и ветер придет, и сдует остатки тепла бывшего, и звезда взойдет над утратами, всеми разом, над обретениями, и свеча зажжется над молодостью, чтобы весть о ней в мире продлить.

И выживут — разумеется, и физически, хотя здесь уж, как водится, сколько отпущено каждому человеку, столько и проживет он, — и, прежде всего, и это всегда особенно важно, подчеркиваю сознательно, поймите, именно творчески, — лишь безгранично преданные святому делу Искусства участники нашего СМОГа.

Ну а теперь посмотрим в прошлое. Пора!
Не там ли были мы и молоды, и смелы?
Эпоха краешком всего лишь нас задела.
Но в этом ужас был — а вовсе не игра.

Страшные годы! Бестолковые, горькие дни!..
Славные годы! Дни прекрасные, ночи живые!..

Вот я смотрю на вас, оглядываясь, приближаясь к вам сызнова, словно впервые, хотя и не в первый уж раз приходится мне смотреть в глаза ваши, чуть сощуренные или, наоборот, широко раскрытые, чистые, — и кровь к вискам приливает, и волнуюсь я, и вздыхаю, и думаю: вы ли это? мои ли вы, годы? наши ли?

И слышу душой: мы — твои, мы — ваши, те самые, прежние! Золотые, наверное, все вы вспоминаетесь, иногда — изредка, но порою — чередую встаете, движетесь мне навстречу, и все-то — с вами: сокровенное и ужасное, и такое, чему и слов-то, как ни бейся, не подберешь, — но за этим, да, и за этим — звук и свет, и в музыке прошлого, и в сиянье прошлого — правда, и не чья-нибудь, а моя.

Ночь, и лампа моя настольная не сильнее свечи горящей, той, из молодости, что с голосом так сроднилась, да и со взглядом.

Зима двадцать первого века. Новое тысячелетие.

Подумать ведь только: дожил! Что пережил — то ушло. Прошло, миновало, сгнуло — вроде бы? Нет, возвращается. Чуть взглянул — и уже возвратилось.

В мире еще январь. Созвездие Водолея. Мой знак. Был мой день рождения. Прошел. И почти никто меня не поздравил. Ну что же, бывает и так. Привык.

Сорок лет, и даже побольше, я пишу. Тружусь. Все работаю. Год за годом и день за днем, ежечасно, ежесекундно продолжается эта работа. Нет ей в мире конца и края, нет преград — покуда я жив. С живого — больше и спросится. Живой — он и скажет больше. И, может быть, лучше скажет, чем ранее. Для того-то и жив он. Знать, воля Божья на все. Дышу. Говорю.

Черно за окном, и снег в лесу белеет, и светятся огни в домах темноватых, и в небе — смурная мгла, и звезд не видно в пространстве, привычном, земном, законном, но знаю — есть они все же, за мглюю, там, в вышине.

В комнате я один. Семья моя спит. Пускай отдыхают — жена, и дочери обе, и внук мой. Вдосталь с утра забот у них будет.

А я-то — не сплю. Почему? Да просто работаю. Вот бумаги мои на столе. И возле стола, на полу. И в углах. Да повсюду. Их много. Вещи — изданные, неизданные, на машинке и от руки переписанные. Мои рукописи. Те, что вроде бы не горят. Что утрачено — то утрачено, там, в былом. Его не вернешь. Уцелевшее — здесь. А новое — тоже здесь. И его предостаточно — в дивной, странной яви моей.

Одиночество давнее. Творчество. Может, жречество. Может, затворничество. Иногда — блаженство. Порою — волшебство. Но всегда — мучение, к радости вечно рвущееся. И чаяния. И любовь. И вера. Горение. Речь, которую жив я. Свет.

Ночь в конце января. В начале было слово. И есть. Я помню, что мирами движет — и судьбы разворачивает спиралями, что ведет сквозь года, спасает, исцеляет, зовет, хранит.

Ночь. Завет всегдашний — живущему. Клич — не спящему. Ключ — поющему. Плач — летящему. Плащ — идущему. Ночь — подмога. Любому — ждущему. Ночь — кочевье. Кремень. Гранит. Ночь — гнездовье. Покой и воля. К сути путь. И к истокам боли. Наважденье. Виденье. Сон. Пробуждение — вне времен. Смысл и тайна. В нутро зеркал шаг случайный. Престол. Кристалл. Миновали вы, дни и годы, но, похоже — не для меня. Взгляд мой — с вами, и слух мой — с вами. Слово — с вами. И вы — со мной. Не покинул я вас, не предал. Как сумел, сберег. Все вы — рядом. Не оставили в яви странной — одного. Понимаю вас. Возвратились. Вас вспоминаю. Вас пою. Пусть январь — на грани. Что за гранью? Знак Водолея. Жизнь грядущая. Поздний час.

То-то в темени — гроздь слов.

Имя времени. Звездный кров.

Где мы только потом, в период самый лучший смогистский, начальный, не собирались, все вместе, казалось мне — очень дружные, молодые, по-настоящему, сплошь, кого ни возьми, одаренные в незабвенном и вдохновенном феврале шестьдесят пятого!

Потребность в общении творческом была у нас велика.

Так велика, что даже удивляюсь и озадачиваюсь через тридцать семь лет: и откуда было такое вот желание непрерывное тогда у всех, поголовно, — увидеться, пообщаться, где угодно, в любое время, хоть на улице, хоть в квартире у кого-то, хоть в мастерской, все равно, — лишь бы видеть знакомых и друзей, лишь бы жить — общением, быть — в общении, в этой стихии, океанской какой-то, всеобщей, всех затягивающей, влекущей плыть куда-то, в пространстве странном, без привычных ориентиров, без известных давно маршрутов, наобум, наугад, все дальше, без раздумий, без отговорок, плыть в реальности сновиденья, пробужденья, перерожденья, продвиженья куда-то в завтра, без пристанищ, без берегов.

Наивность и обреченность — вот что было в этом общении. Элементы безумия даже.

Но и — радость. Великая сила.

Вот она-то всех и сплотила.

Хоть на время. Пусть ненадолго.

И на том спасибо. И с нею был в общении нашем — свет.

И всегда, в те снежные дни, стоило только встретиться хотя бы двоим-троим смогистам, как это маленькое, — но, подобно зерну, таящее в себе грядущее, рвущееся к свету, к теплу, растение, устремленное в рост, — ядро, час за часом, с неимоверной скоростью, обрастало, словно в сказке, все возрастающим числом друзей и приятелей, знакомых и просто любящей поэзию молодежи, отовсюду охотно тянувшейся на огонек, в наш круг, потому что вместе нам всем было тогда — хорошо.

СМОГ — еще раз, для всех, подчеркиваю — это прежде всего живое, непосредственное, плодотворное общение молодежи.

Чем заменить, скажите, постоянные наши встречи, чтение старых и новых текстов, их обсуждение, наши многоголосые, жаркие споры, беседы за полночь, до утра, громадную жажду знаний, приподнятость мыслей и чувств?

Тогда, в молодые годы, формировались характеры, определялась линия поведения, человеческого, личного, без оглядки на прочих, любого из нас, рушились или стремительно утверждались авторитеты.

Элементарно просто было тогда — в одночасье лишиться авторитета, уважения, общей приязни.

И не так-то просто в то время было — завоевать авторитет, уважение товарищей, человеческую, искреннюю приязнь.

Авторитеты казенные, разрешенные, официальные — те действительно рушились. Мигом рассыпались. Трещали по швам. Но не о них ведь речь.

Авторитеты, свободные от всякой официальщины, то есть — наши, почти подпольные, самиздатовские, богемные, официально не признанные, но нами-то всеми — признанные, узаконенные весьма своеобразно и просто, как будто бы на каком-то всеобщем столичном вече, — вот это совсем другое.

Чтобы добиться этого — стоило жить и работать.

Замечу, что добивались этого, так уж старались, что дальше ну просто некуда, кто угодно, кого ни возьми из нашей честной компании, да только не мы с Губановым.

Как и всегда, у нас все получилось по-своему.

Не так совсем, как у прочих.

Вроде как по волшебству.

Скорее всего, причина чуда этого — дар.

Дар. И мой, и губановский.

Трудно, нет, невозможно было что-нибудь возразить — против дара, противопоставить равноценное что-то — дару.

Дар — он Божий. Мы, люди, — работали. И работали очень много. В отличие от знакомых. И вопреки всему, что мешало, могло сбить с толку, отнимало и силы, и время. Оба мы — трудились тогда. Перерывы — бывали, конечно. Чтобы снова бросаться — в работу. Дар был — очень трудолюбивым. Был — рабочим. Прежде всего. Поневолу приходится мне говорить сейчас за двоих — за себя и за Леню Губанова. Лучше бы — отграничивать особенности и свойства: труда моего и дара — от полярных во многом, губановских. Лучше бы — отделять сейчас одного от другого. Потому что так — справедливее. И разумнее. Но куда мне от Губанова нынче деваться? Нет его. И кто еще скажет что-то важное нынче — о нем? Посему — смиряюсь. Тем более, мы когда-то с Леной дружили. И не просто дружили. Мы были — выразителями эпохи. Мы — трудились. Каждый по-своему. Были — певчими. Были — двоицей, певшей в мире, во все не дружественном к нам, судьбою в безвременье брошенной, чтобы выжить — творчески — там.

Тогда мы всерьез учились жить, совершая поступки. Непростое, скажу вам, умение. В молодости — особенно. Поступок — не жест, а шаг. Единственно верный. Оправданный. Осознанный. Часто — рискованный. А то и опасный. Личный. Независимый — ни от кого и ни от чего. Все — сам. Сам решаю. Сам поступаю — так, и только так, не

иначе. Сам шагаю — туда, где страшно. В прорву. В бездну. Сам — выбираюсь из пучины. К слову и к свету. Сам иду — на звук и на свет. В поступке — поступь. Движение. Сохранить горение. Сделать смелый шаг. Сказать свое слово. Поступок — проверка на прочность. Дар поступка — творческий дар.

Каждый день сулил нам открытие чего-то нового, свежего, неизвестного всем вчера. Практически все оказывалось в новинку, а то и в диковину. Что ни встреча — сюрприз, а то и откровение. Россыпь находок. Предвкушение праздника. Так ли? Да, конечно. Повод всегдашний — для какого-то вечного пира. Что ни день — ощущение кануна событий, равных которым не будет, это уж точно. Просветленные лица. Роскошество слов, мелодий, красок. Полет — наяву ли, во сне ли — неважно. Важен — сам полет. Личный? Общий? Всемогущий. Невероятный. Захотел — взлетел над землей. Пожелал — и дальше летишь. Небеса — нараспашку. Славно! Дух захватывает, конечно, с непривычки. Но как прекрасен этот путь молодой — сквозь жизнь!

Восприятие мира, всех его форм и красок, основ и граней, обостренное, было нормой, но зашкаливало всегда, прорываясь куда-то в область неизведанного, стремясь к волшебству, к озаренью, к чуду, к состояниям пограничным, непривычным доселе, к снам наяву, к пребыванию в сферах запредельных, по тем, в химерах и кошмарах их, временам.

Неудержимое, властное желание тут же постичь самое сокровенное — было тогда огромным.

Нет никаких оснований умалять, принижать сейчас эту огромность давнего, искреннего желания.

Никуда она не девалась.

Никуда не ушла она.

Выжила вместе со мною.

Разрослась, расцвела, да так, что, корни пустив когда-то в минувшем, ветви свои в грядущее устремила.

Выросло древо. В мире, полном невзгод, — цело.

Мы тянулись все время к людям.

И не мыслили мы себя, в годы СМОГа, — без этой тяги, без осознанного, постоянного устремления к тем, кто могут, очевидно, услышать нас, да просто должны услышать, и там, за вниманием их, есть, возможно, и понимание.

Люди шестидесятых были совсем другими, нежели новые, нынешние, люди псевдосвободного, затянувшегося, похоже, тройным, не развяжешь, узлом на горле страны, междувременья.

Вместе с изрядным, с детства впитанным, из мифологии, созданной литературой, театром, кинематографом, живописью, да всем искусством советских лет, с примесью веяний западных, а еще, это важно, гриновским воздействием, вместе с прочими влияниями, романтизмом, с весьма еще простодушными и слишком еще наивными представлениями о том, что прежде происходило и что сейчас происходит в жизни страны, в отечественной, многоликой, литературе и в искусстве, многообразном, вопреки установкам партийным и навязанному всем сверху кондовому соцреализму, в той реальности, суть которой, подлинную, кровавую, давно и успешно скрывали, вместе с некоторым, что же делать, сумбуром в их головах, вынужденным, конечно, в них были и замечательные, сами, как говорится, по себе давно существующие, особенности и достоинства — жажда радости, новизны, свободы не суррогатной, а такой, о которой

мечтали, в беседах ночных, они, такой, которую им хотелось увидеть когда-нибудь, желательна все же при жизни, чтобы лично им убедиться, такова ли на деле она, каковою им представлялась, в светлых красках, в тонах лирических, не иначе, во мгле бесчашья, стремление неудержимое и умение, зачастую, самим, как они привыкли, без подсказок со стороны и без чьих-то, пусть и полезных, пусть и дельных, толковых советов, разобраться в том, что всерьез волновало их, беспокоило, тревожило, возмущало, радовало, и еще — верность своим идеалам, преданность давним идеям и надежным своим друзьям, доверчивость и открытость, какая-то светоносная, детская чистота, но еще и та несравненная, особая, наша, чудесная, отечественная, родная, врожденная человечность, которая, в общем-то, вечно и делала, если в корень посмотреть нам, погоду в обществе, во всей грандиозной стране.

К этим людям — стоило нам, таким еще молодым, да ранним, всю тянуться.

Может быть, я невольно идеализирую их.

Не у всех, конечно же, были мною названные сейчас качества и достоинства.

Но таких, о которых сказал я, было все же довольно много. Люди — чувствовали друг друга.

В хороших людях — срабатывала некая, интуитивная, что ли, да, так, избирательность — в смысле знакомств и дружб.

Свыше явно, в этом уверен я, помогали всем нам находить нужные, озаренные светом духовным пути, вехи и ориентиры, маяки на этих путях, находить друг друга, в сумятице повседневности, приходиться, сквозь любые преграды, к людям, выходить на хороших людей, рваться к ним, сквозь время с пространством, — и они, поверьте мне на слово, умели это ценить.

Благодарность в людях жила.

За возможность хорошей встречи.

За нежданную, крепкую дружбу.

Да просто, по-человечески, — за возможность такую: общаться.

Потому и тянулись мы к людям, что знали: нас они — ждут.

И нас действительно ждали — ждали охотно, везде — в мастерских московских художников и скульпторов, этих ярких сторонников нового слова в искусстве, бородачей, в основном в их замызанной, старой, перепачканной щедро красками, привычной, рабочей одежде, с их несколько грубоватыми, но искренними суждениями обо всем на свете, и в первую очередь о прямом их деле, о нашем общем деле, о самом главном, об искусстве, — и в институтских общежитиях, где после чтения стихов можно было всем нам выпить немного, вскладчину, и поговорить по душам, и в комнату небольшую набивалось обычно столько желающего повидаться с нами народу, что вскоре повернуться, не то что шагнуть, было негде, а новые гости, жаждущие общения, подходили и подходили, — и в квартирах столичных любителей литературы и живописи, где атмосфера была совершенно иной, где присутствовала сознательная избирательность в немаловажном вопросе — кого и куда приглашать, и присутствовала достаточная рафинированность, и сказывалась достаточная образованность хозяев, но и они ведь были тоже, прежде всего, так скажу я сейчас, людьми шестидесятых, и это многое объясняло, ставило сразу все на свои места, потому что дар был волшебным ключом, открывающим и сердца, и души, и двери любые, дар — чуяли, дар — привечали, дар — старались тогда сберечь, дар был — пропуском верным в известность, а известность наша тогдашняя непрерывно росла и росла, превратившись так быстро в славу, что опомниться мы не успели, как она захлестнула столицу, проросла и в других городах, и молва покатила о нас по стране, перешла границы государственные, завладела умами сограждан и жителей неведомых западных стран, — и сдержать движение это не способны были ни власти, ни какие-то темные силы, — оказалась живучей она.

К нам подходили, бывало, прямо на улице или во дворике МГУ на Моховой, том самом, известном всем «психодроме», о котором я периодически вспоминаю, поскольку он этого, полагаю, заслуживает вполне (в университете в то время учились, помимо меня, Дима Борисов, Володя Брагинский, Аркаша Пахомов, Коля Мишин, Саша Морозов, Зина Новлянская, Юра Кублановский, Петя Шушпанов, Соколов Михалик и Саша Соколов, Коля Боков, Саша Величанский, Слава Самошкин, Юра Кашкаров и прочие, все — приятели, все — молодые, мыслящие прогрессивно, как тогда выражались, пишущие стихи и прозу, с различным, в основном переменным, успехом), знакомились, заводили разговор, приглашали к себе, — так возникали, случалось, наши дружба, хорошие, новые.

Может быть, и не все они были дружбами, в том высоком смысле этого слова, которыми так я теперь дорожу.

Но мне они представлялись когда-то именно дружбами, а с молодостью своей и с тогдашними представлениями об этом, да и не только об этом, жаль расставаться.

Самодельные наши афиши, пригласительные билеты на выступления, рукописи, машинописи, фотографии, как выяснилось позднее, через четверть века, прошедшую со времен смогистских, когда, решив тряхнуть стариной и вспомнить молодость нашу добрым словом, устраивать стали мы вечера, совершенно легальные, в новых совсем условиях, юбилейные, многолюдные, — очевидцы прежних чудес хранят у себя до сих пор.

Ведь это — приметы времени, драгоценные раритеты, вещественные свидетельства радостной, будоражащей умы и сердца, молодой жизни, с искусством связанной давно и прочно, и, вроде бы, отшумевшей, но не ушедшей никуда, оставшейся в памяти и в трудах наших — навсегда.

Сразу же и решительно были мы, в годы СМОГа, молодые совсем, поддержаны старшими представителями тогдашней, неразрешенной, другой, как теперь говорят, неофициальной культуры, которая оказалась в итоге важнейшим звеном всей нашей культуры отечественной, без условных разграничений на издаваемых, нехотя, кое-как, от случая к случаю, литераторов — и упорно почему-то не издаваемых, на художников, хоть иногда выставляемых — и подолгу или вовсе не выставляемых.

...Надо бы многих вспомнить, о многих людях сказать, вместе с нами под знаком СМОГа в середине шестидесятых живших в сумрачной мгле бесчашья на просторах режимной страны.

Внимательны были ко мне поэты, друзья, когда-то, в молодости своей бурной, Тарковский Арсений Александрович, бледный, худой, с крылом волос над высоким лбом, с глазами усталыми, со словами тихими, ясными, твердыми, убедительными, с чем-то царственным и во взглядах, и в повадках, в жестах неспешных, в мыслях, мнениях и поступках, человек земного пути и высокого в небе полета, и Аркадий Акимович Штейнберг, бурный, щедрый, радушный, стремительный в каждом слове и в жестах, в каждой мысли, идущей вглубь, устремлявшейся разом ввысь, по юдольной земле бегущей вместе с ветром и вместе с веком, потрепавшим его изрядно в годы прежние, но не сбившим с ног и дух его не сломившим, ибо сей человек был крепок и страданиями закален, ибо верен был он поэзии всех традиций и всех времен.

Этого, мой читатель вероятный, увы, не скажешь о Евгении Евтушенко, свысока, на раннем этапе, раннем — Ленином, раннем — славном, так могу я сейчас назвать крат-

ковременный этот период становления и прорыва вдаль, вперед, возможно — в грядущее, покровительствовавшем Губанову, и, конечно же, об Андрее Вознесенском, еще недавно, год назад всего лишь, поддерживавшим отношения вроде бы добрые и со мною, и с Кублановским, — эти люди в эпоху СМОГа даже пальцем не пошевелили, чтобы если и не помочь, а они могли бы помочь, то хотя бы, при их-то возможностях, защитить нас в пору гонений.

Правда, что там скрывать, мы и сами избегали опеки всяческой, поучений, вмешательства, лишнего и ненужного, в наши дела.

Нас приняла молодежь, решительно, безоговорочно, и мы, молодые, общительные, поверили сразу в себя.

Мы отчетливо понимали, что работать нам предстоит еще очень и очень много, что движение наше — лишь смелое и талантливое начало.

Трезвый, незамутненный взгляд и на вещи и на события был у каждого, в разной степени, больше, меньше ли, как уж вышло, как сложилось, уже тогда.

И стремление наше похвальное совершенствоваться, расти, расширять кругозор свой, работать, и довольно упорно, над текстами, и потребность в необходимом человеку, серьезном чтении, и в совете добром, и в критике, если критика справедлива, и в хорошем, живом общении, стали чем-то само собою разумеющимся для нас в пору СМОГа, да и позднее, в дни бесчасья, в сплошном тумане испытаний, когда на свет шли мы, вместе и врозь, упрямо, в круговерти всеобщей драмы, чтобы радость познать побед.

Сказано ведь не случайно: «Цель творчества — самоотдача».

Учиться же, слава богу, было нам у кого.

Немалый жизненный опыт в целом благожелательно настроенных к нам людей постепенно соединялся с нашим собственным опытом.

Как же не помянуть добрым, хорошим словом скульптора Анатолия Ивановича Григорьева, имевшего за плечами долгие годы сталинских лагерей, но и в бедах выжившего, вопреки всем проискам зла, сохранившего дар свой светлый, удивительный, житнетворный, закалившего дух высокий и работавшего годами вдохновенно, целенаправленно, поразительно много, упорно!

Как не вспомнить его супругу, тоже скульптора, превосходного, из волошинского, с традициями и своими устоями, круга, из старинного рода, известного на Руси деяньями многими, для страны, для людей, Ариадну Александровну Арндт, прекрасную и возвышенно чистую женщину, волевою, всегда окрыленную, создававшую чудеса в коктебельском доме своем!

А встречи мои с поэтом Григорием Николаевичем Петниковым, седым, давним, так уж сложилось, по разным причинам, отшельником, — верным, надежным другом славного Велимира Хлебникова, когда-то, в молодости, — годами тихо, уединенно, в единении с природой, живущим в светлом, щедро залитым солнцем киммерийским, уютном домике, в окружении книг, и рукописей, и всегдашних воспоминаний о былых золотых временах, посреди пронизанных музыкой бесконечного птичьего пения, густокронных, бескрайних садов полусонного Старого Крыма?

А частые, год за годом, приезды мои в Коктебель, беседы незабываемые наши с Марией Степановной Волошиной, традиционное, ритуальное, так точнее, «как при Максе бывало», чтение стихов, а потом и рассказы о прошлом неторопливые «Марусины», так ее все знакомые и друзья называли, с любовью и нежностью неизменными, в давние,

славные, невозвратные, к сожалению, только в памяти ныне живущие, чтобы в книгах моих остаться, по возможности, времена драгоценные, в Доме поэта?

А многолетние, долгие, коктейбельские летние чтения на веранде, увитой глицинией, в незабвенном доме Марии Николаевны Изергиной, замечательной, редкостной женщины, проницательной, чуткой, умнейшей, образованной, привечавшей и любившей, по-человечески, да еще и давно ценившей, как никто, пожалуй, меня, для нее — поэта, который лучше всех остальных современников, как она утверждала всегда, и на это имела право, и отстаивала свое непреложное, твердое мнение, и со мною была дружна тридцать два никуда не ушедших из писаний моих и из памяти, благодарной и трепетной, года, — в доме духа, света, пути, в доме речи, музыки, веры, в доме радости и тепла, встреч давнишних, судьбой дарованных, глаз людских, навек очарованных звездным небом и морем близким, виноградом и тамариском, гор таинственною грядой и холмов чередой седой, всеми розами на кустах, всеми песнями на устах, ветром, зноем, дождем с утра, ошущеньем живым добра и блаженства, пеньем цикад, а потом и сверчков, чтоб в сад отворялась калитка вдруг и любому был дорог юг, бесконечностью несомненной вечеров былых, откровенной и доверчивой чистоты, где всегда на виду цветы, где звезда твоя высока, где стезя твоя — на века, где за облачной пеленой прозреваешь ты рай земной, где кого только не доводилось мне, коктейбельскому старожилу, в отшумевшую ныне эпоху, нашу, кровную, видеть и слышать?

О роли старой отечественной, подлинной интеллигенции в жизни моей, да и в жизни каждого из смогистов наспех, вкратце не скажешь.

Она чрезвычайно важна.

Необходимо снова сознательно всем напомнить о литературно-художественном салоне Алены Басиловой, соратницы и подруги нашей тогдашней, создавшей этот салон вместе с матерью своей, удивительной Аллой Александровной, умной и доброй женщиной, — о салоне, приюте московской богемы, где участники СМОГа когда-то чувствовали себя как дома, где столько было говорено, читано, пето, задумано под настроение и даже осуществлено, что теперь, проходя иногда по Садово-Каретной улице, мимо давно снесенного, к сожалению, старого, теплого, дружеского, родного для души и для сердца дома, нет, скорее, конечно же, образа дома этого, в памяти, полной милых образов и видений, я всегда вспоминаю бывшее общение неповторимое и мысленно благодарю этих женщин обеих, подвижниц, мать и дочь, за их доброту к нам, за чуткость их и внимание, за веру и понимание.

А сколько их было еще, дорогих и доселе сердцу московских квартир, где нас ждали в любое время, где рады нам были всегда, где жили в годы бесчасья нашими здесь читаемыми для друзей, для стольких знакомых, для хозяев радушных стихами, нашими интересами, целиком разделяли наши достаточно смелые взгляды!

Следует, полагаю, сказать о творческих, так выражусь я, контактах СМОГа с другими, тоже вовлеченными в наше движение, в непрерывное мыслей брожение, в постоянное и полезное, всем решительно интересное чтение свеженаписанных и прежних стихов — для людей, которым была поэзия как воздух необходима, крупными, в прежней державе известными городами.

В Ленинграде я, в прежние годы — признанный всеми и чтимый всеми основоположник и лидер тогда знаменитого в богемных кругах и в прочих кругах, как назвать их — не знаю, известного столь широко, что казалось все это сказкой, да и только, сном наяву, да, представьте, но и поймите, это правда, нашего СМОГа, постоянно общался,

бывало, а то и дружил с поэтами — Володей Эрлем, худющим, рыжим, чудаковатым, обэриутоведом и королем самиздата;

Сашей Мироновым, странным, задумчивым, обитающим словно не в яви, а где-то в таинственных грезах своих;

Аронзоном Леней, смятенным и приветливым в то же время человеком питерским, жившим независимо и стремительно;

Костей Кузьминским, похожим на Иоанна Грозного, знатоком поэзии редкостным, с православным крестом на груди;

Олегом Охупкиным, рвущимся в пространство или же вдруг исчезающим с горизонта неизвестно куда и зачем;

Витей Кривулиным, с палкой в руке, безбородым вначале, а потом бородатым, читающим всем, в охотку, свои стихи;

Алешей Хвостенко, любимцем богемы, с гитарой, поющим песни свои повсюду, где слушать их были рады;

с прозаиками — Андреем Битовым, поднимавшим к небу лицо скуластое, вслушиваясь в стихи;

Ингой Петкевич, красавицей рыжегривой, леди Годивой петербургской, такой компанейской и всегда везде одинокой;

Сережей Довлатовым, знаковым человеком в среде богемной, великаном из детских книжек в мир шагнувший скорбей и гроз;

с Шигашовым Юрой, бродившим вдоль Фонтанки, где чижик-пыжик жил, из песенки, всем знакомой, и действительно водку пил;

с режиссером Володей Бродяжским, человеком добрейшим, вернейшим, узколицым и светлоглазым, улыбавшимся сквозь туман;

с художниками — живейшим Сашей Чередниченко, с Украины приехавшим в Питер, чтобы мир свой здесь создавать;

Мишей Шемякиным, с длинными волосами, в очках массивных, со щеками в шрамах, казавшихся иероглифами судьбы;

с колоритным, шумным Наумом Подражанским, кудлатым странником, босиком ходившим по улицам, к изумлению местных ментов;

с Борей Гройсом — тогда математиком, никаким еще не культурологом, человеком спокойным, воспитанным, деликатным, высоким, прямым;

и другими, всех их не счесть, интересными, яркими, славными, так скажу я теперь о них, вспоминая их всех, людьми.

В Кривом Роге моими друзьями были поэты, с которыми общался я постоянно с шестнадцатилетнего возраста, со времен молодых наших сборищ, с чтением новых стихов, спорами об искусстве и литературе, с прогулками вечерними, разговорами душевными, с постижением жизни, такой прекрасной, как верилось всем нам когда-то:

Слава Горб, человек обстоятельный, запорожской крепкой породы, понимавший лучше других и меня самого, и стихи мои; друг надежный, двух древних родов казачьих потомок, Олег Хмара, верный и рыцарственный человек с берегов Днепра;

Юра Каминский, жилистый, скуластый, отважный, искренний в каждом слове и в жесте каждом, весь как ясный солнечный луч;

Рудик Кан, задумчивый, тихий, но с огнем неумным в груди и с печалью в душе, хранитель всех традиций наших давнишних;

Володя Михайличенко, украинский поэт, настоящий, с непростою судьбой, страдалец и, сквозь боль, вдохновенный певец;

чудесные Алик и Соня Учителя, добрейшие и внимательнейшие ко мне с молодых моих лет и поныне;

бравурный Миша Павлоцкий, порывистый, восхищенный самою жизнью, которая открывалась ему непрерывно;

Виталик Гладкий, с которым дружил я со школьных лет, чубатый, очкастый, умный, пронизательный человек.

В Киеве, граде старинном, с особым укладом жизненным и духом высоким, светлым, витающим над горами, над широким Днепром, над садами, над кварталами старых домов, над церквями его, мне всегда в годы прежние были рады

Марк Бирбраер, добрый, внимательный друг мой, стойкий, с душой, распахнутой всем красотам подлунного мира, изумительный человек;

Мери Либина, чуткая, чистая и отзывчивая, в сиянье простоты своей несравненной, высоты своей неземной;

Эдик Рубин, друг благородный и возвышенный, понимающий все на свете, всему внимающий, в чем целебный он свет прозревал;

супруги Алик и Зоя Пушкаревы, гостеприимные, дружелюбные люди, хранимые их великой любовью к искусству;

художники — темноволосая, темноглазая птица Наташа Туркия, загадка сплошная и любимица киевлян;

и сдержанный, тихий, витающий среди видений своих Аким Левич, явь сквозь года обретающий, чтоб раздать ее взглядам людским;

поэт и философ Жорж Фенерли, смуглый, таинственный, как алхимик или астролог, заглянуть сумевший в грядущее;

бородатый прозаик, в свитке закарпатской, весьма колоритный, наблюдательный, Леня Коньхов, с Куреневки, воспетой им;

обаятельная, белолицая, светлоглазая Люда Суворова, деликатная, милая вестница вдохновения и добра;

и прочие киевляне, в советские времена — уникальные люди, которым благодарен я навсегда за участие их в судьбе моей, за любовь их к моей поэзии, за присутствие их драгоценное в мире, полном невзгод и гроз.

После смогистской поры «бури и натиска», после главных событий всей нашей эпопеи, которые были известны многим в отечестве и за его пределами, после гроз, отшуметь успевших, после бед, миновавших частично, хоть и были еще ощутимы всеми нами, и холодком их леденящим пронизан был каждый день, в шестьдесят седьмом году потянулись в Москву харьковчане: художник Вагрич Бахчанян со своею женой Ирой Савиновой; поэт и портной, как потом оказалось, и еще неизвестно кто, как окажется несколько позже, раскудрявый, обэриутистый и очкастый Эдик Лимонов со своею супругой Аней Рубинштейн; а потом и прозаик Юра Милославский, и кто-то еще, друг за дружкой, практически вся тамошняя богема.

Потом, по прошествии времени, все они, по традиции, видимо, харьковской, по привычке к перемене мест, постепенно, уехали, друг за дружкой, из Москвы, но уже на Запад.

Только поэт Володя Мотрич остался в Харькове, да еще какие-то люди, наперечет, буквально, покидать страну не желавшие ни за что, да и город родной, из их многочисленной, пестрой, практичной, напористой группы.

Умер Мотрич, друзьями своими прежними напроочь забытый, именно теми, которые так с ним носились когда-то, все-таки увидав единственную свою, кем-то изданную, все в том же Харькове, в девяностых, скромную книгу стихов.

Умерла давно уже брошенная укатившим на Запад Лимоновым, одинокая совершенно, незащищенная, бедная Аня Рубинштейн, больная, усталая, после жизни московской бурной возвратившаяся смиренно в ад кромешный, в безвестность, в Харьков.

А Лимонов — тот, повывав заграничную жизнь и там перейдя от стихов на прозу, с запашком да с душком, с клубничкой непременно, вернулся в Россию и давно занимался здесь, даже, можно сказать, успешно, деятельностью особого рода, нет, не портновской, теперь уже — политической, никакого, само собою, отношения к литературе не имеющей, но зато уж, как всегда у него, с душком нехорошим, со злобным вывертом, с перебором, с патриотизмом сомнительным, лишь бы только на виду быть у всех всегда.

Так вот и процветает всяческое жулье.

Каждому, как говорится, в жизни этой — свое!

Постсмогистское время, так обозначу его для ясности, я теперь, с шестьдесят шестого начиная года и далее, было все-таки самым началом борьбы за существование, попросту за выживание, но зато оно укрепило мою дружбу серьезную с Сашей Величанским, поэтом большим и трагичным; сдружило меня с настоящим поэтом, Наташей Горбаневской, отважной женщиной, с виду крохотной птахой, но духом посильнее иных; с Леонардом Данильцевым, крупным поэтом, прозаиком и художником; с Наташей Светловой — будущей Солженицыной, умной, светлой, нет, светлейшей, пожалуй; с Генрихом Сапгиром, поэтом взрослым и детским, и всем его кругом; со ставшими как-то сразу же моими друзьями художниками — духовидцем, страдальцем, скитальцем Игорем Ворошиловым; чудесным, полуслепым прозорливцем Володей Яковлевым; артистичнейшим и ярчайшим, фантастическим Толей Зверевым; затворником, прорывавшимся к сути, вглубь и ввысь, Мишей Шварцманом; высоким, как тополь, Петей Беленком, предсказавшим Чернобыль; и множеством, именно множеством других современников, ярких личностей, а порою выдающихся, это ныне очевидно и здесь, в России, и в иных пределах, людей.

Все-таки удивительно щедра была молодость наша на встречи, порой знаменательные, на дружбы, нередко хорошие, — и не так-то просто, наверное, удалось застою с его власть имущими, всемогущими — для кого-то, но не для нас, после многих усилий добиться своего наконец: почти разъединить нас. Почти... Ибо единство, внутри каждого, в сердце, в душе, осталось в нас — навсегда.

В памяти москвичей живы доселе два вечера поэзии СМОГа, которые состоялись в библиотеке, в лучших советских традициях названной, имени Фурманова, на Беговой улице, с одновременными выставками живописи и графики.

Первый из них состоялся девятнадцатого февраля, второй — чуть позднее, двенадцатого марта, в смогистском, Змеином, заковыристом, шестьдесят пятом, далеком году.

Как они проходили?

Попробую рассказать.

Заранее были развешаны броские наши афиши — в МГУ, в основных институтах, в тех местах, где всегда было много любознательной молодежи.

Толпы людей, желающих проникнуть вовнутрь, туда, где состояться должен вечер уже известного решительно всем в столице и далеко за ее пределами нашего СМОГа, штурмовали с улицы дверь скромной, тихой совсем недавно, в одночасье нежданно ставшей знаменитой библиотеки, сквозь усиленные заслоны ошалевшей вконец милиции бурными ручейками прорываясь в просторный зал на первом, кипящем страстями этаже доселе не знавшего потрясений московского дома.

Вдоль стен, прислонившись к ним, плотным, плотнее некуда, четырехугольным каре, стояли милиционеры.

На стенах, над их головами, столь же плотными, холст к холсту, лист к листу, часто, густо, впритык, чтобы все уместилось, рядами, по методу самой разумной и простой, шпалерной развески, сияли, переливались разноцветьем радужных красок работы художников наших.

На улице, по дворам окрестным, по закуткам, за углами, повсюду, ждали присланные сюда, на всякий пожарный случай, как говорить любили в народе, в большом количестве, в таком, что хватит на всех, ежели надо будет, ежели сверху прикажут хватать всех подряд, милицейские, не любимые всеми в стране по причинам, понятным каждому в дни бесчасья глухого, машины.

Надо, все так считали, полагать, столичные власти прогнозировали скандал, а может быть, и какое-то всеобщее возмущение, антисоветские выходы и прочее, что предписывалось немедленно пресекать, и заранее вознамерились, в случае всяких волнений нежелательных, забирать и нас, поэтов, художников, молодых, ненавистных смогистов, и пришедших в библиотеку наших слушателей и зрителей.

Народу все прибывало.

О том, чтобы место найти где-нибудь и спокойно присесть, и речи быть не могло.

Люди так тесно сбились в зале, что трудно было даже пошевелинуться.

Все до единого здесь отчетливо понимали, сколь остра и трудна ситуация, и поэтому сохраняли, не сговариваясь, поразительный, образцовый прямо, порядок.

Милиция, намеревавшаяся устранять как раз беспорядки, пребывала в недоумении.

Но ничего, ничегошеньки, ну хоть тресни, не в состоянии была тем не менее сделать: никто здесь не безобразничал, не шумел, опасных речей никто из ментов и граждан в штатском, сотрудников органов соответствующих, не слышал.

Мы сдвинули вместе несколько столов. Получилось подобие помоста или же временной, условной, но все-таки сцены.

На это вот возвышение, позволяющее пришедшим на вечер получше нас видеть, поднимались мы («Как на плаху», — говорили одни, а другие говорили: «Как на корабль, уходящий в дальнее плавание») и читали свои стихи.

Горели свечи. Как в храме. Везде. Ну конечно же — свечи.

Как же было нам — без свечей?

Наше время — свеча и полынь.

Горели, пылали свечи — десятки жарких свечей.

Электричество в зале было почти целиком погашено.

И только высокие свечи — горели, горели, горели.

В перерывах между стихами, звучащими с возвышения, орфическими волнами расходящимися вдоль стен, по людской, внимающей нам, благодарной, замершей массе, звучала чуть слышная музыка — и вслед за нею звучала запись магнитофонная литургии из православной церкви в Париже, — и снова разливалась по залу музыка, органная, — ну конечно же, Бах. Приветствую вас, маэстро!

Звучала светлая музыка, звучали наши стихи.

Горели, пылали свечи.

Горели, пылали и лица всех собравшихся здесь, в зале.

Слушали нас тогда поистине замечательно.

И сейчас, через долгие годы, прошедшие с давней поры, смогистской, невероятной, вижу я перед собою сотни внимательных, зорких, широко, вдохновенно раскрытых,

впитывающих в себя, надолго, на целую жизнь, пожалуй, буквально каждое мгновение происходящего, молодых, целиком солидарных с нами, восторженных глаз.

По окончании вечера происходило нечто вообще в московской, насыщенной событиями всевозможными, в том числе и из ряда вон выходящими, так бывало, невиданное и неслыханное.

Из людской толпы выбирались, по собственному почину, любители нашей поэзии, из тех, кто покрепче физически, и становились плотным кольцом вокруг нас, готовые ко всему, защищая нас сознательно, самоотверженно, а с нами, поэтами, ими признанными, — и Поэзию; внутри, в середине этого дружеского кольца мы, выступавшие только что, пробирались неспешно к выходу, причем наши самоотверженные, добровольные телохранители не покидали нас вплоть до того момента, когда мы, герои вечера, триумфаторы несомненные, оказывались у кого-нибудь из наших ярких приверженцев, да и после, на всякий случай, для спокойствия общего, мало ли что неожиданно произойти может вскоре, поди гадай, что у этих, непредсказуемых в злобе вечной на все новаторское, непохожее на шаблонное, узаконенное, разрешенное кем-то сверху, властей на уме, оставались, нас ограждая от возможных невзгод вместе с нами, — и беседы наши, и чтение стихов продолжались долго.

Как не вспомнить, как еще раз, пусть и мысленно, пусть с запозданием немалым, весьма огорчительным, не поблагодарить сегодня Марию Марковну Шур, которая, находясь в хороших, давно налаженных отношениях многолетних с сотрудниками знаменитой отныне библиотеки и ведя там довольно долго литературный кружок, помогла нам устроить в ней эти наши бурные вечера, — как не вспомнить Марию Марковну, губановскую наставницу, которую он, любя, нежно, тепло, умиленно называл Марией Морковной, — принявшую на себя столько жестоких ударов, с честью выдержавшую все обрушившиеся лавиной сплошной на нее неприятности.

Она твердо, упорно стояла на своем, лучше многих зная, что она-то во всем права.

Долгие, слишком тяжелые для меня, чередой идущие друг за другом годы бесчестия, с их неслыханным напряжением для души, мы не виделись с нею.

Потом понемногу стали созваниваться, подолгу обо всем, что придется к слову, как и прежде когда-то, в молодости моей, миновавшей давно, безвозвратно, навек, разговаривать.

Она, с ее-то застенчивостью, с нежеланием обременять близких своими проблемами, даже читала мне по телефону свои стихи, печальные, светлые, сдержанные, хорошие.

Когда, все в той же, знакомой, знаменитой библиотеке, через двадцать пять лет после прежних вечеров, устроили мы совершенно легальный, открытый для всех, юбилейный вечер славного нашего СМОГа, — увиделись мы наконец, обрадовавшись и встрече, и всему, что происходило вокруг, и тому, что мы живы, слава богу, с Марией Марковной.

Седая, бледная, хворая, очень уже постаревшая, но светлая, благородная, отзывчивая, простая, удивительно умная, скромная, в одежде какой-то серенькой, с глазами, полными слез от счастья, что дождалась пристойных, сносных времен, по сравнению с теми, былыми, где намучились все мы сполна, где страдали, где все по-своему, на упрямстве, на воле, держались, чтобы выжить, она по-прежнему верна была неизменно поэзии — и, разумеется, всем друзьям своим давним, всем нам.

Она помнила все. Она знала обо всех нас решительно все.

Теперь она умерла.

Не успел я, в зрелых своих годах, навестить ее, в маленькой, уютной ее квартирке, там же, на Беговой, вошедшей в историю, улице, в том же доме, что и обычная, для кого-то, а для других, понимающих, знаменитая, связанная со СМОГом столичная

библиотека, не успел я поговорить с ней как следует, вспомнить вместе общее наше, когда-то и навеки, пожалуй, общее, с удивительным, редким горением, что нельзя зачеркнуть старением, с молодым, как и встарь, вдохновением и любовью к поэзии, прошлое...

Но и сам я многое помню.

И еще расскажу о ней.

Свечи. Музыка. Снег за окном.

Наши — в прежние дни — голоса...

Свет извечный — в пространстве земном.

Зов — сквозь время. Да взгляд — в небеса.

Среди участников СМОГа, как уже говорил я выше, уже на первых порах выделялись мы с Леней Губановым.

Далее — шли или, может быть, сказать будет лучше сегодня, в годах моих зрелых, глядя на прошлое в дымке туманной с башни прожитых лет, следовали остальные.

Потом, со временем, все мы, то есть двоица наша, Губанов и я, несомненные лидеры, а также другие соратники наши по СМОГу, а именно Кублановский, Пахомов и Саша Соколов, да еще кое-кто, пожалуй, каждый, понятно, по-своему, как уж вышло, как получилось, как сложилось, как я говорю обычно, сформировались как достаточно, согласитесь, серьезные литераторы, со своим лицом, узнаваемым неизменно, манерой письма, голосом, различаемым сразу же, со своим, собственным, незаемным видением несомненно прекрасного, но и яростного, в чем я согласен с Андреем Платоновым, да еще и безумного мира.

Перечислять монотонно всех, кто участвовал в СМОГе, нет никакой возможности, даже малейшей, крохотной, вроде песчинки влажной на берегу морском, где брожу я порой, размышляя о своей беспокойной, нелепой, слишком бурной, на взгляд обывателей, временами просто ужасной, алогичной до невозможности, героической, несравненной, на упрямстве, на воле, грустной, ослепительно яркой, светлой изначально и навсегда, потому и чудесной, моей, а не чьей-нибудь там, волшебной, словно сказка, пронизанной музыкой всей вселенной, таинственной жизни, жизни — песни, жизни — любви, жизни — веры, огня в крови, жизни — радости, жизни — надежды, жизни в прошлом и в настоящем, жизни — той, что будет в грядущем, — и кричат надо мною чайки, и плывут облака с востока, и шумят соленые волны о загадочности истока, и дожди предо мной проходят бесконечною чередой, и звезда моя, загораясь, поднимается над водою, — нет, опять повторяю я, возможности и желания перечислять всех, кто косвенно или напрямую, поактивней, участвовал в СМОГе, нет на это времени, благо время наше материально, так зачем разрезать, кроить, разделять на куски материю, в этом нет никакого проку, кто-то был где-то близко, сбоку, был да сплыл, вот и все, растаял, что-то, может быть, и оставил, что-то, может быть, и унес насовсем, так зачем всерьез говорить о них, скажут числа о любом из них, не беда, что припомнятся иногда или, скопом все, никогда не откликнутся на призыв, чтоб собраться вновь, пусть и жив каждый ныне, — шумит вода, вдаль уносятся поезда, кто-то ходит туда-сюда за стеною, встает гряда гор окрестных, грядет страда трудовая, эх, господа, помню ваши я города, не для вас под землей руда, расплылся навек, орда, покрывайся наростом льда, и при мне все мои года, и душа моя молода, — нет возможности, да и смысла.

Было когда-то их вдосталь.

После начальной, не просто бурной, какой-то клопочущей, везувийной, как сказала бы Цветаева, полосы, когда мы, всеми решительно таковыми повсюду признанные основоположники, лидеры смогистского то ли брожения, то ли все-таки, может, движения, как хотелось бы многим считать, стали людьми, известными в литературно-художественных, проще — богемных, кругах, среди московской, мгновенно и надолго, и вслед за этим среди ленинградской, потом среди не менее действенной, пусть и провинциальной, по другим городам Союза разбросанной наугад, неофициальной творческой элиты, в различных странах мира (что было связано с незамедлительными, по горячим следам, публикациями на Западе наших текстов, с появлением всевозможных, путаных, спорных, сомнительных и лишь иногда надежных, достоверных, толковых, проверенных, грамотных материалов, комментирующих, с переменным успехом, поверхностно, бегло, и всячески, на свой, как обычно, салтык, в каждом отдельном случае, в целом же недостаточно серьезно и глубоко, истолковывавших программу и творческую, без политики, ярлыком прилепленной некогда к молодому содружеству нашему, без патетики, без одиозности, без трубящей во все возможные, какие только найдутся под рукою вовремя, трубы, без гремящей во все барабаны повсеместной, всемирной славы, боком вышедшей нам в итоге, и особенно мне, человеку совершенно незащищенному, настрадавшемуся сполна и расхлебывавшему за всех заваренную когда-то, густую, с пудами соли, с кипятком крутым, с перцем жгучим, развеселую поначалу, а потом жутковатую кашу, деятельность, многогранную, беспримерную, нашего СМОГа), когда смогизм, выражение или термин, понятный всем, из того же ряда, что прежние символизм, акмеизм, футуризм, то есть как ни крути, но течение литературное, так, считают доселе многие, стал без всяких усилий притчей во языцех и, пусть и разгромленный, изничтоженный, искорененный, так хотелось бы думать кому-то на кремлевском холме, властями, подспудно, без лишнего шума, он все-таки, несмотря на запреты сплошные, на грозные гонения, существовал, смогистами, да, представьте, именно так, смогистами, охотно себя называли и считали себя какие-то непонятные, темноватые, разбитные, сумбурные люди, которых мы, хорошо своих товарищей помнящие, толком порой и не знали.

Основное же, золотое, сутью бывшее СМОГа, ядро было с маху, без всякой жалости, без раздумий излишних, жестоко, так, чтоб выжить было нельзя, как намечено было, режимом, посреди бесчасья, в стране драгоценной нашей, разбито.

Разбито? Как бы не так!

Считаете так? Считайте.

Иллюзий-то не питайте.

На что? Не убьешь никак.

Ни молодость. Ни любовь.

Ни плещущую стихию.

Мы — выжили. Не впервые.

И выживем в бедах — вновь.

Шли годы самоотверженной — без малейшей надежды на скорое, да какое там скорое, просто издание, хоть потом, хоть в грядущем, когда-нибудь, позже (доживем ли до этого времени, кто нам скажет, никто не скажет, и загадывать нечего), наших горемычных, упорных трудов многолетних — работы серьезной над стихами, работы над прозой, беспросветно тяжкого, слишком уж изнурительного, на грани обреченности, чуть ли не гибели, ведь бывало, существования, сугубо личных, бессчетных, как приходится мне признать сейчас, в иную эпоху, где могут о них этак вскользь, с как бы вре-

менным холодком ироническим, псевдоумники, расплодившиеся негаданно на руинах эпохи прежней саранчою несметной, сказать, мол, подумаешь, биографических, да, увы, было так, неурядиц и житейских, с нелепыми вывертами и кошмарами всякими, сложностей.

Ощущение то ли отверженности, то ли странной, от всех и всего, многолетней, глухой отрешенности, впрочем, как у кого, по-разному это было, поди разберись, что там каждый из нас ощущал, за других говорить не стану, за себя же скажу: не просто отрешенности от чего-то, ну, допустим, не все ли равно, пусть и так, наплевать, пресловутого процесса литературного, нет, читатель мой, отрешения от всего, что могло обрадовать, стимул дать для дальнейшего творчества, не какой-нибудь шанс, но стимул, нужный вовремя человеку одаренному, крайне важный для души, окрылить, поддерживать, ощущение безнадежности, ну, пускай не совсем, но все-таки, беспросветности, безысходности, с этим сжиться пришлось, поскольку явь такую была, усилилось.

Некоторые смогисты — умерли. Что же делать! Нет их. Остались — тексты. Ими когда-то написанные. В них они днесь — живут. Слово друзей зовут: вот они! Разберитесь в давних, живых трудах. Все вы теперь в годах. Все-таки соберитесь вместе, в широкий круг, вспомните: есть общенье. Прошлое — как прощенье. Разом нахлынет вдруг. Заполнит слова. Повремени, прощанье! Прошлое — обещанье. Сдержанное сперва. Ну а потом — вперед! Прошлое — наважденье? Верности зарожденье. Света земных щедрот.

Некоторые смогисты — отошли от литературы, от живописи, от всего, что душу всегда окрыляло, поднимало над бытом, спасало, вводило и вглубь, и ввысь, где осенние звезды зажглись, или, может, весенние звезды, или зимние, или же летние, тем не менее звезды, светила, где земля нас давно простила, ну а море к себе звало, чтоб за словом вставало число, за числом снова ясное слово, чтобы к подвигу были готовы, чтобы шли безоглядно на свет, чтоб земных не чурались примет, но с небесными были дружны, чтобы стали друг другу нужны, чтобы ветер плескался в лицо, чтобы вышли с утра на крыльцо и увидели мир пред собой, светлый, нашею ставший судьбой, песней ставший, ушедшей в грядущее, — исполать вам, куда-то идущие, понимания где-нибудь ждущие и кого-то к себе зовущие, — некоторые, по разным причинам, ушли от искусства в сторону, растворились неведомо где и зачем, оставили молодые увлечения, словно вещи ненужные, где-то поодаль, исчезли вдаль, — насовсем?

Не знаю. Нет их — и все тут. Что скажешь на это? Молчишь.

Хочешь услышать кого-то — некого. Глушь да тишь.

Время было более чем странным, безумным и сложным.

Для некоторых — приемлемым. Для большинства — невозможным.

Но возможно и невозможное, как заметил однажды Блок.

Налицо всегда непреложное. Неизбежное. Видит Бог.

Время было слишком опасным. Зазевался — прости-прощай!

Время было все же прекрасным. Вдохновляйся, твори, вещай.

Только помни: глоток свободы может стоить жизни тебе.

Но вставали из почвы всходы — по старинке и по судьбе.

Время в руки порой давало и синицу, и журавля.

Время СМОГа сердца скрывало, на которых стоит земля.

Время душу везде хранило — и в скитаниях, и в трудах.
Сквозь любые вело горнила. В потаенных цвело садах.
Сущим адом и светлым раем, вперемешку, бывало. Пусть.
Добрый взглядом. Собачьим лаем. Грустью, знаемой наизусть.
Было верой. Надеждой было. И любовью. Списать слова?
Никуда никогда не сплыло. Не утратило волшебства.
Да и песни о нем — остались. Не уходят. И вновь — придут.
Стали книгами. Знать, листались. И теперь — пониманья ждут.
Понимание — откровенье. Чье? Откуда? Поди гадай.
Чтобы к свету почуять рвенье, сам попробуй-ка пострадай.
Чтобы к звездам дорогу видеть, сам когда-нибудь набродись.
Чтобы прошлого не обидеть, сам намайся и потрудись.
Ветер века! Эпохи грозы! Расставания. Навсегда?
Встань, упрямясь. И вытри слезы. И тебя не согнет беда.
Годы гнева, смиренья, счастья! Состраданье. Крутой разбег.
И стеною встает ненастье. Дождь, надолго. А там и снег.
Вечер окна зажжет в пространстве. Вновь сквозь время горит свеча.
Что-то брезжит и в постоянстве. Луч звезды. Поворот ключа.
Клич знакомый вдруг различаю. Там, поодаль. За гранью мглы.
И в минувшем души не чаю. Очертанья его — светлы.
Несмотря ни на что. Поймите. Свет — со мною. И свет — во мне.
И незримы нایتя нити. И воскреснуть пора — в огне.
И отшельничество — сквозь годы — к новым высям проложит путь.
И морские прихлынут воды, чтобы высветлить мыслью суть.
Соль запекаясь. Полыни величая седина.
Знаки, понятые отныне. Боль, изведанная сполна.
Роли, сыгранные в миракле. Манускрипт на столе моем.
Листья влагою вмиг набрякли. Осень. Все-то я — о своем.
Было свыше дано так много, что суметь бы его сберечь.
Время выбора. Время СМОГа. И ведет за собою — речь.

Проверку, весьма суровую, на прочность, закономерную проверку, необходимую, потому что нельзя иначе в этой жизни, так полагается, так издревле заведено, выдержали, к сожалению, а может быть, впрочем, и к лучшему, кто скажет сейчас, кто рассудит, кто хоть что-нибудь объяснит, да и надо ли объяснять, согласитесь, бывает ведь всякое, ни к чему сейчас разбирательства совершенно ненужные или же расплывчатые, туманные, нелепые объяснения, от которых ни проку нет, ни какого-нибудь понятия о причинах и следствиях слабости человеческой, мало ли что с человеком случиться могло, человек существо не только ранимое, но и пугливое, не все, но отдельные особи, страшит его неизвестность, хочет прожить он, случается, спокойнее, незаметнее, нежели более смелые друзья его, современники, соратники по смогистским сражениям отшумевшим, вот и линяет он в сторону, подальше от фронтовой обстановки, от всяких возможных, это ясно, невзгод и бед, прячется в норку, вырытую заранее или же свежую, вырытую поспешно для себя, норовит укрыться, переждать в ней любые бури, уцелеть, а потом найти приемлемую какую-нибудь, в нашем странном обществе, нишу, чтобы в ней, пообжившись, окрепнув, годами существовать, никому никогда не мешая, словом, вечная хата с краю, нежелание быть бойцом, быть героем, и дело с концом, и ну ее к ляду, проверку на прочность, которую, снова говорю я об этом, приходится говорить, что же делать, выдержали далеко не все из смогистов.

Некоторые товарищи наши по СМОГУ, друзья лет молодых моих, состоялись в других, серьезных, безусловно, соприкасающихся с литературой, с искусством, и тоже, конечно, творческих по-своему областях.

О Михалике Соколове я уже говорил выше.

Если во времена легендарного нашего СМОГа он одним из первых в стране переводил Элиота, Эмили Дикинсон, Гинзберга, выделялся всегда эрудированностью, то, став прекрасным действительно, подчеркиваю, историком искусства, лучшим, наверное, он и здесь на своем, завоеванном упорным трудом и талантом, заслуженном честно месте — и благородному делу своему, создавая книги, которым аналогов нет в наши дни, отдает все силы.

Слава Самошкин, честнейший, открытый, очень надежный человек, «друг своих друзей», отучившись в университете, на ему интересном, видимо, в силу разных причин, факультете журналистики, стал со временем журналистом-международником, подолгу, что мне когда-то казалось почти фантастикой, но было реальностью, жил и работал за рубежом.

Был он даже, в восьмидесятых годах, представьте, ответственным редактором всяких журналов для прежних социалистических и вроде бы дружеских стран главной, ни больше ни меньше, редакции периодических изданий Агентства печати и новостей — АПН.

Переводил с румынского чьи-то стихи и прозу.

Собственные, хорошие, стихи его, за исключением одного, которое я опубликовал однажды в одном из прежних журналов русских, в подборке смогистов, долгие десятилетия были так и не изданы.

Ныне Слава собрал стихи свои в книгу — и вроде намерен где-нибудь эту книгу издать.

Живет он сейчас в Бухаресте.

В СМОГе активно участвовала группа учившихся вместе в Москве украинских художников:

Леня Курило, талантливый, отзывчивый человек, с улыбкой мальчишеской светлой, спрятанной в бороде;

Володя Войтенко, задумчивый, тихий, сосредоточенный на мыслях своих, с глазами добрыми и печальными;

Боря Кучер, с юга, из Крыма, с окраины Севастополя, человек левантийский, смуглый, худощавый, веселый, высокий;

Валя Куц, человек устойчивый, крепкий, с Западной Украины, рассудительный, но с огнем и в поступках своих, и в словах.

Это была сплоченная компания верных друзей, земляков, так можно сказать сегодня, единомышленников, людей доверчивых, искренних, чистых, по-настоящему одаренных, живущих искусством, преданных безоглядно искусству, помимо живописи, достаточно хорошо знающих литературу, музыку, современную и классическую, театр шестидесятых, кино.

Мы называли их строгановцами, поскольку были они из Строгановского училища.

Лидером их бесспорным был учившийся в Ленинграде, но тесно друживший с ними Саша Чередниченко, человек удивительный, очень талантливый, обладавший светлым и притягательным для всех нас тогда магнетизмом, носитель множества новых, здоровых, порой уникальных живописных, своих, незаемных, развиваемых им и друзь-

ями, что и было, наверное, школой, направлением целым, возможно, да еще и духовных идей. Национальное, так и никак не иначе, начало прочно соединено в живописи и графике художников этих ярких с новейшими достижениями авангарда, а также с классической традицией, дав со временем своеобразный сплав.

Они, поверьте мне на слово, заслуживают давно не только выставок, но и серьезных монографий.

Кровь звезды под ногтями эпохи да петляющий в сумерках след всех, кто шел — при царе ли Горохе, или позже — сквозь изморозь лет. Пожелтевшему старому снимку, поседев, удивись и пойми — там плеяда былая в обнимку, всех моложе, одна меж людьми. Свитера на локтях прохудились, но четыре судьбы поднялись из оков, что всегда находились на земле, где мечты не сбылись. Вот и прожито время ночное, что само за себя говорит, — но извечное пламя свечное наши лица еще озарит.

Сохранилась, возможно — случайно, ну а может — и не случайно, ибо есть в сохранности этой, как всегда, и любовь, и тайна, и надежда на что-то, свыше нам дарованное когда-то, уходившее вкось за крыши, чтобы вспомнить, что мы крылаты, словно ангелы или птицы, чтобы вера вела святая по земле, где росли зарницы, в сердце исподволь расцветая, давняя фотография, сделанная художником Леонидом Курило, славным, добродушным бородачом, в феврале или в марте Змеиногорского, смогистского шестьдесят пятого, на которой мы, четверо молодых парней, закадычных друзей, как тогда почему-то считалось, — Губанов, я, Кублановский, Пахомов — сняты, все вместе, после очередного, одного из многих, в ту пору, шумных и многолюдных выступлений наших тогдашних, в переполненном до предела взбудораженными студентами, нам внимавшими, общежитии Строгановского училища.

Находясь в достаточно зрелом возрасте, с болью и нежностью вглядываюсь я в юные наши лица и понимаю, что этот снимок — «попадание в десятку», настолько он точен и выразителен, скажу больше — историчен.

Четыре лица — четыре характера, и причем разных, даже полярных, четыре довольно сложных, тоже разных совсем, судьбы.

Поэтому — вкратце о судьбах.

Леонид Губанов, чья жизнь и судьба были, как ни ломала, ни замалчивала, ни туманила их советская лживая власть, фантастическими и трагичными, умер в кунцевской скучной квартире, где была у него своя, для работы, для пьянок, для отдыха, для раздумий неведомых, комната, при неясных, увы, обстоятельствах, в сентябре Кабаньего восемьдесят третьего года, всего-то тридцати семи лет недолгих от роду, что себе он заранее предсказал, давно, еще молодым, полным сил, задора и пыла, полным веры в себя и в поэзию, которая выше всего, в осеннем стихотворении шестьдесят четвертого года, а впрочем, если вчитаться в стихи его повнимательнее, то и не только в нем.

Провидческий дар его, редкостный сам по себе, магический, поражающий и ужасающий людей, вообще поразителен.

Провидческий дар — шар. Светящийся. Сфера. Коло.

Провидческий дар — жар. Души мятущейся школа.

Провидческий дар — след. Во времени. И в пространстве.

Провидческий дар — свет. В святом своем постоянстве.

Он — празднество меж тревог. Зачем же ему скрываться?

Он — таинства зов. Он — смог в грядущее пробиваться.

Провидческий дар — прорыв. За грань сквозняка мирского.
Провидческий дар — он жив. И живо, с ним вместе, слово.

Можно было бы приводить сотни примеров его точнейшего, прямо в яблочко, угадывания грядущего.

Был Губанов провидцем? Не знаю.

Слишком громко это звучит.

Но ему временами в грядущем — что-то, вспышками, знаками, символами, непрерывным роением видений, наслоением сплошных наваждений, отголосками странных радений, безусловно, приоткрывалось.

Что-то чувствовал он обостреннее многих своих современников.

Что-то — чуял.

Что-то — угадывал.

А что-то — и прозревал.

Прозревал — в озарении. В трансе.

Прозревал — в состояньи особом.

Том, которому нету названья.

Том, которое свыше, наверное, да, лишь так, ему было дано.

Том, с которым свыкнуться, сжиться все же было ему суждено.

Леня. Ленька. Губаныч. Губан.

Для кого-то — совсем пацан.

Для кого-то — почти пахан.

Трезв порою. Но чаще — пьян.

Леня. Ленечка. Все же — друг.

На распутье земных дорог.

То-то СМОГ — магический круг.

И — спасительный. Видит Бог.

Его сумбурная, дикая, многозначная, многоликая, непривычная слишком для снобов, грубоватая, плотская, вроде бы лишь на первый, скользкий взгляд, но с высокими взлетами духа, очевидными, при внимательном, сосредоточенном чтении, с присутствием Божества среди обугленных, жарких строк, вдохновенная, интуитивная, с элементом необходимейшим всегдашней импровизации, со стремлением записать нахлынувшее видение немедленно — и сейчас же записанное прочитать вслух, чтобы все записанное зазвучало, вырвалось, вместе с голосом — в музыку, в пение, в орфическое пристанище времени и пространства, яви и сновидения, сказки и трезвой были, звездной волшебной пыли, ветра и тишины, осени и весны, радости, там, за гранью дальней, снегов, лучей летних, воспоминанья, грусти, свечей, ночей, поэтика — уникальна.

Самородок, дерзкий мальчишка, хулиган из московских дворов, уличный заводила, русский, вот что ведь очень важно, преемник Артюра Рембо, талант могучий, стихийный, глубоко, широко, привольно, исконно национальный, он еще в юности, быстро, буквально в кратчайшее время, сформировался, нет, лучше скажу я так, состоялся как поэт, ослепительно яркий, с новизной восприятия мира, и сумел заявить о себе, как никто из его ровесников.

Позже голос его поэтический, поохрипший в сплошных неурядицах, в безысходной житейской сумятице, в череде невзгод, сохранил все-таки, вопреки затянувшемуся бесчастью, однажды и навсегда верно, вернее некуда, найденный в юности тон, обре-

тя, как-то сразу, с годами, вместе с опытом, вместе с крушением всех наивных прежних надежд на хорошее что-то в грядущем, на свершение планов давнишних, вместе с оптом разбитыми вмиг о китайскую стену быта, о коварные рифы судьбы, о приметы безумья в нелепой околесице будней мечтами, сакастические-горькие ноты, густую, былинную, песенную, с алкоголем в простуженном горле, с жутким фоном халатов дурдомовских и хрущевских пятиэтажек, в шрамах звезд кремлевских, с рубцами незажившими бурь и страстей, сумасшедшую, вне закона, в угол загнанную властями, на разрыв аорты, с набрякшим от бессонниц лицом, с глазами прозорливца, с душой, токсующей о неведомом и прекрасном, обожженную и обиженную, но страданиями не униженную, потому что дом ее — высь, где прозрений зарницы зажглись, окрыленную, наделенную даром взлета, порыва, поступка, независимую, горделивую, сокровенную, острую крепость.

Ленино литературное наследие велико и толком еще не издано.

Единственная прижизненная, всем известная, публикация в журнале «Юность», в начале шестьдесят четвертого года — двенадцать строк из поэмы, тоже всем известной, «Полина», — повлекла за собою тогда же двенадцать едких статей и фельетонов в печати.

Шуму было — на всю страну.

Разговоров — на всю Москву.

Журналисты Губанову создали неслыханную рекламу.

Потому что, если ругают, что-то есть в молодом поэте.

Раз ругают — надо читать.

Где читать? Публикаций — не было.

Ни одной. Только эти двенадцать, из поэмы вырванных строк.

И тогда — искали Губанова.

Как найти его? Где найти?

Что он пишет? И чем он дышит?

Находили его. Всегда.

При желании — это просто.

Пусть Москва велика, но в ней человека — можно найти.

И тем более — молодого, интересного, видно, поэта.

Нашумевшего так — в печати.

И не столько стихами, сколько всеми отзывами на них.

Находили Губанова — быстро.

Никуда ведь он не скрывался.

Жил — открыто. Все время — на людях.

Появлялся он — и читал.

И тогда — изумлялись люди молодому, щедрому дару.

И тогда — возникали дружбы.

Рос поклонников шумный круг.

Леня был — нарасхват. Повсюду.

С ним в дома приходило — чудо.

И стихов оживали груды.

Что ни шаг — закадычный друг.

Так ему — в те года — казалось.

И судьба ему — улыбалась.

И звезда его — поднималась.

Над столичною суетой.

Над богемной гульбой привычной.
 Став — заветной. Единоличной.
 Не искусственной. Не тепличной.
 Настоящей. Впрямь золотой.

За ним почему-то прочно утвердилось в прежние годы репутация скандалиста, отчаянного, даже с явной сумасшедшинкой, вечно лезшего на рожон, всегда нарывавшегося на скандал, за гранью дозволенного пребывавшего, как нарочно, раздражавшего благопристойных обывателей, буйного малого, фаталиста, порою способного на изряда вон выходящие, непредвиденные, лихие и безумные, сплошь опасные, как и было, действительно, выходы.

Иногда, говорю открыто, напрямую, без недомолвок и замалчиваний сознательных, бывало ведь и такое.

Да, бывало. То реже, то чаще.
 В зависимости от Лениного состояния. Сиюминутного.
 Да, бывало. Не раз. И не два.
 Много, много раз. Как в цыганской, под гитару звенящую, песне.
 Много раз. Во хмелю. В опьянении.
 Алкоголем. Тоской. Любовью.
 Тем, чего просто так не выскажешь.
 Всем, что душу томило его.
 Всем, что сердце его разрывало.
 Всем — земным. Неужели — мало?
 Предостаточно. Да, бывало.
 Все ведь разом — на одного...

Но я, друживший с ним в молодости, утверждаю, что это был все время упорно работавший над собою, много читавший, разбиравшийся превосходно и в поэзии, и в искусстве, понимавший лучше других, что почем в ремесле поэта, в ремесле, подчеркну, в работе, по цветаевской точной формуле, а не просто в какой-то там, на досуге порой, писанине, чистый, сверходаренный и застенчивый человек, прятывший сущность свою под условной, ему навязанной, как нарочно, чтоб досадить, всласть помучить, поизгаляться, уязвить, испытать на прочность, самим безвременьем маской.

Губановское влияние на поэзию русскую нынешнюю, на многих людей, сочиняющих стихи, молодых, пожилых и юных совсем, очевидно.

Влияние это, прямое или косвенное, присутствует в продукции стихотворцев, ушибленных творчеством Лениным навсегда, или просто задетых невзначай, или напрочь придавленных, как живучий, невыразимый, вроде крови, необходимый, их подпитывающий, дающий им возможность жить и дышать, непонятный для них, но сросшийся с ними, ставший важнейшим, спасительным, ток, похожий на электрический, но на самом-то деле магический или, что, несомненно, вернее, животворный, волшебный свет.

Влияние это коснулось, нет, скорее всего, поддержало в становлении, облагородило, так скажу я, воздействием русского духа, сквозь времена возможностью проходить, как солнечный луч, и с пространством дружить, Кублановского, который сам признавался в этом, в годы прежние, мне.

Влияние это заметно в текстах Лениных современников, в разной степени, больше ли, меньше ли, но — заметно, и здесь ничего не попишешь: уши торчат — а слова не томят, не горчат, и медвяной сладости нет в них, и раскатов нет грозových, да и тайны

тоже не сыщешь днем с огнем, только рой отголосков, перепутанных образов сонмы, отражения в зеркалах, на поверку давно разбитых, да плутание в звездных орбитах, перепевы сплошные, да бред, у которого имени нет.

Губановские открытия, находки его, по наитию, по чутью, в озаренье, — бесспорны, особенно в области ритмики, развернутой сложной метафоры, смелого соединения живописности яркой образного, густого, свободного ряда с притчевой монологичностью, воспринятой им из народного творчества, переосмысленной, развитой и поднятой в молодости, в наиболее сильный творческий, так считаю давно я, период, на истине небывалую, несравненную высоту.

Нередко стихи его строятся подобно русской иконе: вокруг центрального образа расположены клейма — сцены сумбурного, пусть и так, но зато и неповторимого, согласитесь со мной, неистового и достойного жития.

Появившиеся после смерти Лениной, ужаснувшей всех своею необратимостью, публикации в периодике на поверку нередко оказывались чудовищно изуродованными, вроде бы и губановскими, почему-то считалось так, почему — непонятно, текстами, с купюрами и многочисленными, не оправданными ничем и донельзя порой нелепыми, зачастую просто бредовыми, возмутительными искажениями и самих стихов, горемычных, да и только, иначе не скажешь, разве только махнешь рукою, да вздохнешь, да ругнешься тихо, на подобное варварство глядя огорченно, и смысла их.

Что двигало публикаторами?

И кто это, доморощенный умник, специалист хренов, знаток сомнительный, беспринципный, глупый, вот так, по-советски, до неузнаваемости, вторгаясь, куда не следует, разрушая живую ткань, орудуя, как мясник, уродуя все подряд, по своей бестолковой прихоти, правил и переписывал всем известные Ленины вещи?

Что это вообще, граждане, за безобразие?

Пожалуй, лишь я один осуществил публикации многих стихотворений и ранних поэм Губанова, в которых тексты представлены в их подлинном, то есть так, как написаны были когда-то эти вещи отменные, виде.

По количеству строк — это целый весьма внушительный сборник.

А вот хоть однажды издать очень сильную, мною составленную, отдельную Ленину книгу, не такую совсем, как вышедшие, но составленные другими, не очень-то понимавшими, с кем имеют дело, пускай, допускаю, доброжелательными, только этого слишком уж мало, чтобы суть постигать поэзии, чтобы лучше видеть в огромном арсенале текстов, людьми, как ни хотел я этого, что ни пытался я только для этого сделать, мне до сих пор так и не удалось.

Но, как говорил Губанов, бывало, «все впереди».

И поэтому я уверен, что большая книга его, настоящая, с тщательно выбранными из написанных груд стихами, лучшими, наиболее сокровенными, самыми важными, пусть и потом, со временем, все-таки выйдет в свет.

Да и все вообще, что он написал, будет, верю я, издано.

Современный читатель откроет для себя наконец поэта изумительного дарования.

Не имевший почти ничего своего из предметов быта, живший гостем в квартире родительской, постояльцем в домах у друзей, у которого за душою были только его стихи, груз, всегда его тяготивший, груз десятков тысяч неизданных, с кровью дав-

шихся, страстных строк, работавший где придется, все равно ведь, от случая к случаю, лишь бы числиться где-нибудь, лишь бы защититься ему от властей, ночным ли, как многие, сторожем, пожарным ли, письмоношцем ли, сполна весь ужас изведавший отечественных психбольниц, в молодости частенько, а с годами все реже и реже, опекаемый почитателями его таланта, Губанов жил тридцать семь своих лет безумных только поэзией — и воспарил, как державинский лебедь, над всей своею горячо любимой страной, потому что всю жизнь писал он — для своего народа.

Моя собственная, дарованная свыше жизнь и судьба моя складывались, если мягко говорить об этом, невесело.

Оказавшись вдруг еще в молодости в положении непросто поэта, не издаваемого на родине, я бездомничал, вынужден был скитаться по стране, по домам чужим кочевать, лишь бы только где-нибудь, где удастся, где примут меня, отдышаться, ночь провести не на улице, а в квартире, или в дружеской мастерской, или за городом, все равно ведь, ночевать каждый раз в другом, неизвестном заранее месте — это что-то вроде искусства, это надо уметь и надо это все еще и стерпеть, — и поэтому я-то знаю хорошо, даже слишком, наверное, хорошо, на собственной шкуре испытал это все, намаившись вдосталь, что такое нужда, нищета сплошная, вернее, невозможность прийти в себя, отдохнуть от невзгод хоть немного в кутерье столичной, которой дела не было до меня, до мучений моих, болезней, до отчаянья, до тревоги бесконечной, — всегда в дороге был я прежде, всегда в пути — но куда? — полагаю, к свету — и движенье сквозь время это выручало меня, почти, панацеей же — творчество было, и защитой вечной от бед, вот и шел я сквозь ночь — на свет, и бесчашье меня не сгубило, потрепав изрядно весьма, ничего не попишешь, — помню, помню все — и жаркие полдни с их тоской, сводившей с ума, и морозную чехарду зим чумных, и осенний ветер, и весну, чей простор был светел, где стоял я в родном саду криворожском, спасаясь вновь от всего, что меня томило, разрушало, и сердцу мило было все, в чем жила любовь, и надежда, и с нею вера, возвышающая меня, поднимающая из огня в годы гроз, где одни химеры окружали меня порой, выручающая, святая, благодатная, золотая, и рождался звучащий строй, и поэзия, как всегда, воскрешала, сквозь испытанья, и горела над ней звезда, и вставало за ней сиянье.

Давать оценку своей поэзии собственной, то есть, по существу, писать об этом целый трактат или текст, в котором пришлось бы подводить под мои писания необходимую базу, в своем же повествовании, конечно же, я не стану — сделали это давно те, кто прекрасно знают все этапы и все периоды, вехи все и сложности все развития моего.

Как и всем, приходилось работать — в экспедициях, разнорабочим, грузчиком, в средней школе, недолго — на телевидении, литературным сотрудником газеты многотиражной Главмосавтотранса, с названием четким — «За доблестный труд», и так далее — вплоть до нелегкой, монотонной, скучной работы рецензентом в различных издательствах, и даже, по чистой случайности, какое-то время, редактором одного из московских издательств, но это — уже в период перестройки, когда кое-что в стране нашей стало меняться, к лучшему ли — не знаю, но меняться, вот и меня терпели в роли редактора.

Работали мы однажды, с Кублановским вместе, в Елоховском соборе, в семидесятых, он — сторожем, по привычке многолетней своей, я — дворником, отогревались

с мороза у него в тесноватой сторожке чаем крепким, а то и вином, если нам удавалось порою наскрести на бутылку вина денег, с гулькин, в общем-то, нос, но всегда не хватавших, из наших смехотворных тогдашних зарплат, иногда смотрели в окошко и молчали, дымя сигаретами, иногда подолгу беседовали, — задушевности я не припомню ни в одной из этих бесед и доверчивости хорошей, неизменной когда-то, встарь, но довольно теплые нотки в них звучали, что было, то было, это правда, свет и тепло и в словах вспоминаю прежних, и во взглядах, почти нездешних, — все куда-то навек ушло.

Писал я эпизодически сценарии для телевидения и передачи для радио, когда достойные люди, понимавшие лучше других всю навязанную властями мне сознательно зыбкость и сложность положения моего, мне давали возможность изредка немного подзаработать, сочинял увлеченно сказки и стихи для детей — кое-что было издано, как ни странно, писал какие-то пьесы для театра кукол, — да мало ли что, всего теперь не припомнишь, и не надо припоминать, приходилось мне в годы минувшие, чтобы как-нибудь продержаться, чтобы выжить, когда-то писать.

Как и некоторые другие друзья мои и знакомые, занялся я в восьмидесятых годах переводом поэзии народов СССР — и достиг на поприще этом достаточной, даже больше, довольно широкой известности.

Много было, за годы моей переводческой, многосложной, многих нервов стоившей, деятельности, публикаций в периодических изданиях — и в Москве, и в бывших союзных республиках, и автономных республиках, и в каких-то далеких краях, и в загадочных областях, и еще неведомо где.

Немало, так уж сложилось, так все совпало, видимо, так получилось, наверное, свыше видят, что и к чему, вышло и переведенных мною, читай — написанных по-русски, и так точнее будет, пожалуй, книг.

Переводческий труд, особенно в советских жестких условиях, — очень тяжелый, долгий, изматывающий настолько, что света не взвидишь, труд, если ты подходишь к нему со всей возможной серьезностью, если всегда, в любой ситуации, ты работаешь, как устроен сам, только на совесть, полностью, весь, целиком, выкладываешься, стремясь к тому, чтобы переведенные тобою чьи-нибудь вещи существовали в стихии русской великой речи.

А я, понимая это, может быть, больше прочих, именно так вот, ответственно и чрезвычайно серьезно, и относился к этому, вынужденному, и все же всегда для меня интересному, творческому труду.

Иначе я просто-напросто не умею, и все тут, работать.

Национальные авторы многие быстро поняли, что перевожу я стихи их на русский язык хорошо, — и потянулись, на свет поэзии, видно, в Москву, в мое обиталище скромное, один за другим, и в конце восьмидесятых ко мне стояла целая очередь желающих, чтобы сборники их именно я (а не кто-нибудь другой, не такой, наверное, всего себя отдающий работе своей, как я, пусть и съевший даже, без соли, сто собак на поприще этом, и в работе поднаторевший, и знакомства имеющий нужные) когда-нибудь перевел.

Но я, для них неожиданно, взял да и перестал вообще заниматься этими бесконечными переводами.

А тут, это надо же, дожили, вы подумайте только, сограждане, осознайте все это, прочувствуйте хоть однажды, и жизнь в стране начала на глазах меняться с поразительной быстротой.

И открылись внезапно возможности почему-то разнообразные, изобильем своим поражавшие, для свободных, достойных изданий.

И вышли довольно быстро, наконец-то дождался их все-таки в девяностых, книги мои — в подлинном их виде.

А до этого — что до этого было? Вспомню, грустно вздохнув.

С каждым прожитым годом я ощущал, что духовно расту, работал, всегда, в любых ситуациях, даже аховых и трагических для меня, много и напряженно.

В восемьдесят седьмом, перестроечном, странноватом, после мглы бесчасья, году, благодаря счастливому, как меня уверяли некоторые, стечению обстоятельств, вышли в свет небольшие мои сборники (но не книги, вот что важно помнить) стихов «Предвечерье» и «Выбор слова», в восемьдесят девятом — урезанный основательно неизвестно кем и зачем сборник маленький «Родина речи», все три — с немалым числом нелепых, грубых купюр и текстовых искажений, к досаде моих читателей, количество коих было тогда весьма велико.

Ведь уже четверть века, вот сколько долгих лет это длилось, ко времени, перестроечному, непривычному для меня и для всех вокруг, издания этих сборников, стихи мои, как и стихи тогдашних моих друзей, ходили по всей стране в списках — традиция наша, российская, существовавшая давно и привычно, столетиями, оказалась живучей, устойчивой.

В сборниках этих, вышедших все-таки, пусть и с изрядным запозданием, по издательской инерции, был я представлен (сознательно, полагаю) однобоко, этаким лириком, певцом любви и природы.

На самом деле, как многие знают, и сами вещи мои говорят за себя лучше всех, это вовсе не так.

В то время, пусть и менявшее кое-что вокруг, я на скорые и достаточно полные, рукописям отвечающие моим, издания книг, заждавшихся этого, не уповал.

Уже тогда мною было написано, за двадцать семь лет напряженной работы, — я говорю сейчас о времени с шестьдесят второго года, с моей ранней совсем поры, по восемьдесят девятый, почти на грани свободы, грядущей, желанной, год, — более двух с половиной тысяч стихотворений, разнообразных циклов и довольно крупных поэм.

Признаться, толком я их сроду, в голову это как-то не приходило, тщательно не подсчитывал.

Что-то из них в минувшем, и немало, было утрачено, что-то, по вспышке, вдруг, — сызнова вспоминалось.

К тому же работа шла — и шла она постоянно.

Говорю я о том, что чуть позже называть стали, чаще и чаще, моим наконец-то изданным с Божьей помощью и при участии хороших людей, которым я благодарен за это, более-менее полным собранием основным.

Но людям, поэзию любящим, давно и прекрасно известно, что после этого «позже» я, коктебельский отшельник, за восемнадцать-то лет, очень многое, несколько книг, объемистых, сильных, серьезных, в годы смуты и бестолковщины, в одиночестве давнем своем, в затворничестве сознательном, вдалеке от развала и бреда всеобщих, еще написал.

Все, что я писал прежде, и все, что пишу сейчас, — это мои, особые, характерные для меня, тысячи раз продуманные, в каждой, даже мельчайшей, детали, в каждом слове и в букве каждой, в русской речи, в стихии этой, животворной, родной, живущие, не совсем, пожалуй, лирические, нет, скорее, скажу смелее, так считать я вправе, эпические, музыкою и светом бытия вдохновленные книги и большие циклы стихов, мыслю я именно так.

То мое, на самый конец восьмидесятых годов, более-менее полное, собрание стихотворений и поэм — было так и не издано.

Изрядная часть вещей моих, написанных в прежние, сложные, отчаянные, тревожные, скитальческие времена, по самым разным причинам, была безвозвратно утрачена.

Но и то, что имелось в наличии, — было тяжестью, да какой еще, которую я, с годами, все более ощущал.

Не говорю уже, просто чтобы не огорчаться всякий раз, вспоминая прошлое и кошмары былые, о прозе, о своих записках о времени и людях, которых знал я, о многих стихах, оставшихся за пределами основного собрания, о других, полноценных, важных работах.

Но — Бог действительно милостив!

Говорила, всегда не случайно, моя бабушка: «Не видать горького — не испытать сладкого», — это уж точно.

Стали книги мои — выходить.

Как и следует книгам. В свет.

И, одна за другой, появились.

С запозданием, но — вышли на свет

И собою они представляют, хотя и, скажу опять об этом (затем, возможно, чтобы точку над «и» поставить, ну а лучше всего многоточие, или, может, еще какой-нибудь, небывалый, волшебный знак, знак судьбы, например, или знак протяженности, знак во времени и в пространстве, светящийся знак во вселенной, звучащий знак, речи знак) далеко не полностью (ну и что, ничего, я знаю, издадут когда-нибудь все), и на том спасибо, что вышли, к людям, к свету, — мое собрание.

Но теперь, уже в самом начале двадцать первого века, вновь я ощущаю эту особенную, хорошо мне знакомую тяжесть — этот ежесекундно, привычно, поднимаемый мной и несомый вдаль куда-то, изо дня в день, как и прежде когда-то, годами, ввысь и вглубь, сквозь безумие нынешнего как бы времени общего груз, этот гнет написанных мною, да, увы, не изданных вовремя, сберегающих свет, звучащий во вселенной нашей, вещей...

Планида, что ли, такая?

Ладно, не буду ворчать.

Верю: и эти мои писания будут изданы.

И надеюсь на их возможное грядущее понимание.

Важно — делаю я на этом акцент сознательно — вот что.

За долгие годы бесчестия у меня, человека, вдосталь нахлебавшегося в былом такого, чего никому даже в ярости не пожелаешь, да и у прочих поэтов и прозаиков нашего круга выработалась особая, самиздатовская, аналогов не имевшая в мире, этика.

Я никогда не устану об этом напоминать.

Мы хорошо понимали, что на издание наших текстов надеяться нам в советское время нечего.

Предпочитали дружеское, творческое общение.

Согласитесь, куда важнее услышать серьезное мнение подлинного знатока, нежели пусть и восторженное, но поверхностное суждение какого-нибудь профана.

Мы жили, живем и будем жить в грядущем — литературой.

Может быть, это покажется кое-кому, допускаю, удивительным или странным, а то и невероятным, но и сейчас мне достаточно перепечатать рукопись в трех всего экземплярах и подарить их тем, кому мои вещи действительно, всегда, позарез нужны.

И можно быть твердо уверенным, что буквально через неделю число экземпляров этих вырастет неизмеримо, что тексты начнут свой путь по Москве и по всей стране, а теперь — и по странам, поскольку и Союз давно развалился, и республики наши союзные, бывшие, стали нынче отдельными государствами, и в западных разных странах, куда уехали многие, тоже полно знакомых, — от человека, так сказано в древности, к человеку.

И представьте себе теперь, какую была отлаженной система распространения самиздатских текстов в прежние, советские, миновавшие, по счастью, режимные годы.

Все это — продолжается.

Спасибо вам, наши читатели!

Такие же точно подвижники, как и мы, вы есть — и, я знаю это, у нас и впредь будете вы всегда.

Что же касается наших отечественных издателей...

Ждать мы давно привыкли, в молодости еще научились все, так уж вышло, выдержке и терпению.

И мои стихи, и друзей моих стихи, все равно издаются — в разных, вон ведь их сколько в мире подлунном, странах.

И это вполне понятно: своя у них — Бог им в помощь во пределах, земных и небесных, и везде, где приветят их, — жизнь.

Кублановский Юрий Михайлович, просто Кубик, поэт, сложившийся по-своему, в полном согласии с его собственным поведением в жизни, весьма, считалось, начитанный человек, допускаю, вполне возможно, все, как видите, может быть, все бывает, с кем не бывает, с молодых еще лет любитель путешествий по искони им любимой и чтимой России и по прочим краям империи, вынужден был однажды взять да покинуть родину.

Один из довольно близких, так считалось, теперь сомневаюсь в этом, не без оснований, друзей моей бурной молодости, сокурсник, соратник по СМОГУ, собеседник, порой собутыльник, россиянин, волжанин, родом из Рыбинска, но потом, очень скоро, уже и москвич, по высшему, как полагается, с дипломом, образованию — искусствовед, по природе своего, врожденного, кубовского, не какого-нибудь, поэтического, было, было такое, дара — лирик, но с примесью пафоса гражданственного и с пристрастием к фиксации дотошному дорогих для него подробностей и деталей, даже мельчайших, развернувшейся перед ним пестрым веером повседневности, человеческого, простого лишь на первый взгляд, на поверку же сложноватого существования на родной и чужой земле, вплоть до попыток осмыслить и выразить, как уж выйдет, значимость, неповторимость вообще бытия земного, самого бытия человеческого, со всеми его возможными событиями и градациями, то есть попросту реалист, отшатнувшийся, отказавшийся от юношеской своей наивной иррациональности и симпатичной фантастики, то есть уже не «Фауст и фантаст», а скорее трезвый комментатор происходившего и доселе происходящего в истории нашей, как раз издревле иррациональной и,

само собой, фантастической, это все понимают, страны, вел он жизнь то бродяги, не горьковского, разумеется, попримечнее, покомфортнее, посolidнее, как пристало по эту столичному, в отдаленном прошлом смогисту, ненадолго, поскольку беды тяжелы ему были всегда, не любил, не хотел он страдать, не способен был к этому, лучше было тихо себя вести, не высовываться зазря, чтоб не трахнули по башке или по носу, то отшельника, но вполне между тем устроенного, чтобы с голоду не загнуться, чтобы в меру порой кайфовать, чтобы слишком не рисковать, чтоб себя, горячо любимого, и дела свои, потихоньку продвигающиеся вперед, ни на миг, ни на долю секунды, даже выпивши, даже во сне, даже в строчках своих гражданственных, даже в мыслях, не забывать.

Работал он, после северной, кратковременной жизни в Архангельске и где-то на Соловках, при храмах различных, сторожем.

Навалившуюся неожиданно, жестокою, жесточайшую, по его заверениям, травлю встретил он — уж так, как умел, насколько сил у него на борения с ней достало.

Был он поставлен властями перед выбором: или, дружок, лагеря, со всеми их ужасами, которые ты, герой доморощенный, на словах, в болтовне своей, в писанине с диссидентским душком, но вовсе не на деле, сам понимаешь, никогда ни за что не выдержишь, или незамедлительный, сверху санкционированный, выход — отъезд на Запад.

В лагеря, несмотря на геройство, проявляемое в основном в гражданственных, о России, бедной, несчастной, замученной лютыми большевиками, разрушенной, обездоленной, патриотических, правильных, как школьное сочинение, в русле антисоветской, бойцовской идеологии плывущих корабликом утлым с грузом сырого пороха для сражений грядущих, стихах, Юре, созданию хрупкому, чувствительному, ранимому, что известно решительно всем, деловитому, если надо, если это ему на пользу, эгоисту-профессионалу, да еще и с немалым стажем, приспособливаться готовым где угодно, когда угодно, лишь бы выгодно было это да удобно, прежде всего для него, страдальца за правду, хоть во Франции, хоть в болоте, все равно, там найдется кто-нибудь, кто пригреет и кто утешит, кто поможет жизнь обустроить, даст приют и скромное жалованье, по заслугам, как полагается, чтобы с голоду не пропасть, чтоб свободой наестся всласть, укрепив свою мягкотелость, разумеется, не хотелось.

Мученик из него сроду не получился бы.

Он сам признавался в этом, пряча глаза, немедленно выдающие слабость души, страшнейшей испытаний суровых, на выживание, сам говорил мне, что просто не выдержит он всего этого, не способен, и все тут, ну что поделаешь, такой уж он уродился, в кого — да кто его знает, мучения — не для него.

Выбрал он, разумеется, не лагеря, а отъезд.

Подсобили ему, правдолюбцу, диссиденту, герою, страдальцу, побыстрее, без проволочек, без всяческих нервотрепок, без томительного, как у прочих граждан советских, мечтающих покинуть пределы Союза, ожидания, выйдет, не выйдет, надо терпеть и ждать, авось и удастся вырваться, любым из возможных способов, — подсобили ему, поэту гонимому, гражданину от головы до пят, некрасовской старой закваски, в молодые годы смогисту, по прозвищу Кубик, устроив для него зеленую улицу, все преграды вмиг устранив, словно взмахнув своей псевдоволшебной палочкой, выступив не напрасно в роли псевдоволшебников, ряженных, разумеется, на деле же натуральных, советских, классических монстров, убратся, спасшись от страхов лагерных, за границу — почему-то сами же, добрые до странности и внимательные к судьбе литератора, ими же преследуемого так люто, сотрудники госбезопасности.

Так он, во всяком случае, по прошествии многих лет, смутно весьма и путано, мне об этом рассказывал.

Ну, ладно. Спасли страдальца.

Может быть, прочитали справку от Эренбурга, выданную когда-то для рыбинских грозных властей, о том, что Куб — молодой поэт, человек талантливый.

Может быть, прослезилась, читая стихи о судьбе любимой Кубом России.

Может быть, был у них свой, рабочий, на это резон и прицел свой четкий, на будущее: вдруг да выйдет с ними на связь, вдруг да будет, в чужих краях пообжившись, чем-то полезен?

Контора дело свое чекистское знала прекрасно.

Учить ее было не надо — как ей с кем поступать.

Вот и пошла навстречу тому, чья душа, похоже, не столь уж была чиста.

Поразительная доброта!

Удивительное внимание!

А возможно — и понимание.

Чего и кого конкретно — контора сроду не скажет.

Узлы потуже затянет — и язык никогда не развяжет.

Сплошные тайны. Секреты. Загадки. Петляющий след.

Был симпатичен конторе бывший смогист, поэт?

Может быть, и такое на белом свете бывает.

Или, может, она темнит — и правду привычно скрывает?

Не знаю. К добру порывы отродясь за ней не водились.

Может быть, и такие помощнички находились.

В былом. Под куполом синих отечественных небес.

Не напрасно ведь утверждают, что Россия — страна чудес.

(Пушкин: «Куда ж нам плыть?..»)

Отчего же такому — не быть?

Да еще и при орденоносце бровастом, туземце Брежневе и сменивших его правителях в нездоровое, хмурое время.

Оказавшись не где-нибудь, скажем, в Архангельске или Останкине, а в самой что ни на есть вынужденной, так принято говорить почему-то об этом, для солидности, вероятно, для пафоса несомненного, в этом слове медью звучащего, для веса, очень возможно, и это скорее всего так и есть, на деле, поскольку чем весомее выглядит слово, тем спокойнее для человека, на нем, как на транспортном средстве, въезжающего в манящий благами цивилизации, огнями расцветенный рай, — оказавшись в своей, из собственной мифологии, эмиграции, он, в раю чужеземном прижившись, тосковал о родной стране.

И вовсе не удивительно, что в странах, вкусивших свободы намного раньше, чем пришлый страдалец, бывший смогист, ностальгия его изводила.

Ну прямо грызла. Съедала с костями. Не пережевывая. По вкусу пришелся ей, видимо, поэт по прозвищу Куб.

Теперь-то становится ясным, кому — до сих пор непонятно, что он-то и есть — гражданин, что он-то и есть — патриот.

В Москве я бываю редко. С годами — все реже и реже. Вдали от столицы — лучше дышать и работать мне.

Москва для меня — не сахар. Толпятся воспоминанья на каждом шагу — о прошлом. И вновь — голова в огне.

Что было, то было. Сплыло. Ушло. Но и ран не скрыло. Зачем? Золотые силы спасали меня всегда.

Над всеми семью холмами, над реками и домами, над судьбами и умами вставала моя звезда.

Есть время — и есть пространство.

Живу я давно у моря.

Чураюсь я самозванства.

Ни с кем ни о чем не спорю.

Каждый живет по-своему. Как умеет. Как получилось.

С каждого в будущем спросится — за все, что в жизни он сделал.

Это Кубу — Москва нужна. Просто необходима.

В ней он если не рыба в воде, то сыр ноздреватый в масле.

И что мне до всех его подвигов липовых, если повсюду, и в Москве, и в Европе, и в Африке, и, вполне вероятно, в Австралии, не говоря уж о Рыбинске, Санкт-Петербурге и Крыме, Апрелевке и Переделкине, Куб он и есть Куб.

И рассказывали, бывало, мне о нем знакомые всякие — о его странноватой деятельности эгоистичного толка, о его поведении спорном в наше смутное, сложное время, — в грустноватых, со вздохом невольным после каждого слова, тонах.

Но это уже в годы, последовавшие за его решительным возвращением домой.

А там, в эмиграции, хоть он и пристроился как-то, и не бедствовал вроде, наоборот, сам говорил, не только в кругу знакомых, но и в опубликованных в периодике интервью, что зарабатывал в месяц примерно столько, сколько средний французский инженер, а для жизни этого вполне достаточно, он писал стихи, издавался, путешествовал по разным привлекательным странам.

И мечтал возвратиться назад.

Кублановский издал на Западе четыре книги стихов.

Потом, после долгих семи лет своей эмиграции, наконец возвратился в Россию.

Издal здесь еще пять книг. А может, издал и больше. Стихи в них, незнамо зачем, — ну прямо как в тех, у печатавшихся в минувшем столетии авторов, советских, традиционных, цензурой одобренных сборниках, издаваемых, как-никак, и даже переиздаваемых, причем тиражами немалыми, не то что сейчас, в междуверье, когда и пятьсот экземпляров для вышедшей книги стихов считается делом нормальным, — повторяются монотонно, словно нечего больше включать ему в книги свои, но хочется новую книгу выпустить, и для этого все годится, что имеется под рукой, и тексты перетасовываются, композиция обновляется, темы слегка варьируются. И лишь в умеренных дозах дополняются книги новыми, с пылу с жару, достаточно свежими, для него, с гражданственной ноткой в каждой строчке, где боль за Россию так и хлещет сквозь каждое слово, чтобы Волгою течь по родимой стороне горемычной, вещами.

И это, как ни крути, действительно, как ни пытался я отделаться от наваждения, напоминает мне, как в прежние времена бесчисленные пииты монтировали свои проходные, условные сборники.

Может быть, это все-таки называется — «строить книгу»?

Но у Юры — именно сборники.

Книги, свои, настоящие, были ведь у него — в период нашего бурно расцветшего самиздата, когда он, сам, безусловно, без чьей-то услужливой помощи, как писал мне однажды в письме, присланном на Украину, где жил я тогда и работал в родительском добром доме, в середине семидесятых, нашел наконец свою форму — этикие небольшие книжечки, вроде циклов стихов, интересные, четкие всегда, вполне органичные.

Зачем ему было отказываться от наконец-то найденного? Впрочем, как говорится, каждому в мире этом, где многое и без этого наперекосяк, свое.

Надо сказать, что первую из вышедших не за границей, а здесь, на родине, книг издали в бурную пору сплошной эйфории по случаю наконец обретенной свободы и всего, что к ней прилагалось почему-то, само по себе появляясь почти ежедневно, постоянно, у всех на виду, проникая в сознание людское, превращаясь в дела и поступки небывалые, Кублановскому мы с Анатолием Лейкиным.

Хотели сделать приятное знакомому, пострадавшему за правду, вдосталь намаившемуся в эмиграции человеку.

Прямо к первому, с помпой, с шумом, со встречей торжественной, его приезду на родину — поднапряглись и успели.

Я сам, в тот день и в тот час, когда мы встречали его — и вот он, герой, страдалец, бородастый, вальяжный, тучный, помахивая небрежно всем собравшимся на перроне у вагона, в котором прибыл он в столицу из-за кордона тюленьей вялой рукой, улыбаясь, на всякий случай, приветливо, но с напряжением в бегающих по лицам, закуткам и углам отдаленным, настороженных глазах, толком еще не осмысливший, что теперь он уже не в Германии, не во Франции, а в Москве, все, привет, наездился, прибыл на побывку, дождался встречи наконец-то, добрался все-таки, дотащился, как ни крути, финиш есть на его пути, сошел на вокзальный, заплеванной, захламленный, унылый перрон, сошел, да не просто так, налегке, но с форсом, с размахом, стаскивая с пыхтением по лесенке, из вагона, вниз, одну за другой огромные сумки, набитые заграничным тряпьем и прочим, неизвестным народу, скарбом, и сразу же оказался в широком, шумном кругу знакомых давным-давно людей, друзей и приятелей, пришедших его встречать, чествовать, привечать, — несколько церемонно, торжественно даже, искренне надеясь, что доставляю этим своим поступком старому другу радость, вручил ему принародно большую, весьма тяжелую, перевязанную шпагатом, нет, не пачку, но просто груды только что, накануне, отпечатанной и сброшюрованной в типографии книги «Оттиск».

А Юра-то Кублановский, которого, по привычке, наивно считал я другом, оказывается, давно уже, возможно, с той самой минуты, когда я вручил ему книгу, сказав при этом, что весь тираж ее, и немалый, три тысячи экземпляров, принадлежит ему, это наш для него подарок, пригодится, будет раздаривать помаленьку, на выступлениях подписывать для любителей поэзии или, может, продавать, почему и нет, все ведь сделано для него, друга старого, этак запросто и легко, без всяких усилий, ни к чему они возвращенцу, эгоисту, забыл о ней.

Вот что значит — быть гражданином, эмигрантом и патриотом.

Столько ведь у человека всяких забот, хлопот — куда уж там помнить ему о каком-то своем издании, о книге, которую здесь, на родине, то есть в стране, где он вырос, куда так рвался, по словам его, из-за границы, где изгрызла его ностальгия по отечеству, по необъятным, дорогим его сердцу пределам, без тени мыслей о выгоде для себя, о расчете, искренне, по доброте душевной, больше, от всей души, на свои, а не чьи-нибудь, средства, сэкономленные, оторванные от семейных наших бюджетов, не без трудностей, мы с Толей Лейкиным, человеком достойным, выпустили!

Киммерийским летом, в июне девяносто девятого года, когда закатился ко мне, без спросу, с очередной дамой своей Кублановский и пришлось мне принять их обоих, и стерпеть их присутствие здесь, потому что я много работал, а они отдохали, нарушив тишину, и мешали мне, отвыкшему от компаний, от бессмысленной болтовни псевдоумной, сосредоточиться, у меня, в Коктебеле, в доме, затворническом, спокойном, я спросил его напрямик:

— Почему ты, Юра, скажи мне, за прошедшие десять лет никогда, ни разу, нигде, ни полсловом не упомянул, что первую твою книгу на родине, самую первую, издали мы с Толей Лейкиным, что называется эта книга стихов — «Оттиск»?

— А я уже и забыл, что такая когда-то была! — преспокойно и даже цинично ответил мне Кублановский.

Что на это скажешь? Вздохнешь, да рукой махнешь огорченно, да подумаешь: ну и дела, да помотришь вновь за окно, ввысь и вдаль, в синеву и в зелень, где лучится над миром солнце или звезды в ночи мерцают, в глубь живую, где вечен свет.

Разве что анекдот вспомнится, старый, известный, с бородой седой, нестареющий, тот самый, про ветерана, с характерным: «Ну, б..., и память у тебя!» Действительно — б...

Наверное, Юре просто некогда обо всем помнить. Всего не упомнишь.

Особенно, подчеркну, старательно он забывает — для его же, Кубова, блага совершенные не единожды поступки своих друзей.

Да и не только такое.

Вообще, надо прямо сказать, все, что считает ненужным для себя, для своей биографии, — сразу же забывает.

Напрочь. Бесцеремонно. Решительно. Навсегда.

Наверное, так ведь бывает, ему просто-напросто некогда.

Человек занятой. Общественный.

Служба в журнале толстом столько личного времени год за годом съедает.

Да к ней еще и нагрузки всякие, и обязанности, и, разумеется, должности.

Одно секретарство в Союзе писателей, не передать вам, чего, почетное, стоит.

Уйму сил отнимает.

«Мух уйма» — назвал не случайно когда-то, в шестидесятых, именно так одну из своих самиздатовских книжек художник и остроумец блистательный, черноюморный, пронизательный, дерзкий Вагрич Бахчанян, человек, живущий до сих пор почему-то в Америке.

А тут — сил уходит, ох, уйма.

Уйма. Ну просто мухуйма.

И зарабатывать надо.

И жить посреди распада.

(Тоже ведь — аномалия.)

И на людях быть. И так далее.

Так что — нет, и еще раз нет, не до друзей ему, честолюбцу и гражданину, не до памяти нынче ему, диссиденту и патриоту.

Он — весь, и давно, в своем.

Он — вещь, и всегда, в себе.

Он отнюдь не какой-нибудь там доморощенный альтруист.

Он — сплошное, глобальное эго.

Что с него взять, с Куба?

Не с круга и не с квадрата.

С товарища? Или собрата?

Что ему в жизни любо?

Куб — он и есть Куб.

(Дыма нависший клуб.

В СМОГе? В Москве? За границей.

Рядом с новой девицей.)

Не знаю, как в Африке. Или посреди обжитой Европы.
 (Разве его не ждали собственные Пенелопы?
 Разве с ним не носились друзья и знакомых толпы?
 Доброты — предостаточно было. Только не было в этом — толку.
 Разбивались порывы искренние о скалу эгоизма железного.
 Потому что хотел страдалец наш одного для себя — полезного.
 Потому что искал наш мученик в доброте людской — только выгоды.
 Для себя, горячо любимого. Вот и делайте, братцы, выводы.)
 А в России — уж точно, Куб.
 Вроде бы не инкуб.
 И вовсе не Кубла-хан.
 Карьерист. Иногда и хам.
 Просто — Кубик.
 (Нависший чубик.
 Хлипкий нос.
 Из-под век — вопрос.)
 Просто — Куб.
 Не скажу, что груб.
 Книголюб.
 Временами — глуп.
 Хитроскоп.
 И царям он — льстец.
 Автостоп.
 На дуде игрец.
 Что ни сборник — универсам.
 Туристические заметки.
 То-то дразнит он зверя в клетке.
 Весь, как есть. Кубоватый. Сам.

Вспомнил я вдруг, размышляя о времени прежнем, вот что.

Привезли мне как-то знакомые в самом конце прорывавшихся к свободе восьмидесятых посмотреть раритеты вроде бы, два или даже три увесистых тома изданной в эмиграции, где-то в Америке старым моим петербургским приятелем семидесятых, поэтом Костей Кузьминским, антологии «Голубая лагуна», вроде бы так называлась она, а может быть, «У голубой лагуны», что не меняло главного, то есть ее содержания.

Толстые, тяжеленные, с фейерверком шрифтов и россыпями разнообразных текстов, сочиненных бесчисленными авторами самиздатовскими, тома.

Листаю я их неспешно, с интересом, то угасающим, то по новой вдруг разгорающимся, — и попадаетея мне на глаза весьма любопытная, динамичная, резкая, Костина, взрывчатая, с динамитным зарядом в запасе, статья.

Гляжу — а в ней речь о Кубе.

Прочитал я эту статью — благо со всей конкретикой своей и типичным Костиным боевым, вдохновенным запалом, по объему она небольшая, — и только грустно сощурился. И потом слегка улыбнулся. И глотнул своего заваренного вместе с травами киммерийскими, неизменно крепкого чаю. И, в окно посмотрев на московские, с мелким дождиком рядом, окрестности, с днем прохладным, со смогом над городом в сизых далях, в пространствах заоблачных и поближе к земле, к деревьям и к домам, закурил. И вздохнул.

А говорил мой приятель питерский Костя Кузьминский, неизвестно зачем уехавший за границу, в своей статье, откровенной, под стать характеру своему, прямому,

открытому, без подлянок и недомолвок, без утайки сути на дне вавилонов словесных, без лишних церемоний, примерно следующее.

...Ах ты, Куб, ох, такой-сякой, эх, противный, плюс мелковатый, нехороший, бесстыдный Кубик!

Сколько лет живешь ты на Западе, публикуешься здесь везде, на халяву по странам катаешься непрерывно туда-сюда, — и хоть бы один разок, один-единственный раз вспомнил ты о своем старом, смогистском друге, о гениальном Алейникове! Хоть разок бы сказал когда-нибудь где-нибудь что-нибудь о нем доброе — или стихи его в каком-нибудь из многочисленных зарубежных русских изданий напечатал бы! Но куда там! Разве он на такое способен? Это ведь Кубик такой-разэтакий. Это ведь Куб!..

Не берусь передать сейчас Костины тон и стиль.

Желающие — те когда-нибудь сами небось обнаружат эту статью в «Лагуне», — тем более, я уверен в этом, ее со временем издадут еще и в России, — и поймут, кем и чем был когда-то вызван такой справедливый, что решил он по-своему высказаться обо всем, что считал он нужным обнародовать, донести до читателей, Костин гнев.

Но Кублановский, представьте, писал-таки обо мне.

Конечно, в умеренных дозах.

После выхода моего первого, изувеченного цензурой советской, сборника стихов «Предвечерье» — рецензию.

И по знакомому всем в родимых пределах радио «Свобода», где он как будто бы какое-то время работал, обо мне говорил он что-то достаточно дружелюбно, — знакомые люди, которые слышали передачу, рассказывали об этом событии мне в былые, с «голосами» на тесных кухоньках, со спорами за вином о судьбе нашей родины милой, загубленной большевиками, со стукачами в компаниях наших, с доносами частыми на товарищей, с кагебешным надзором, с чтением новых стихов у кого-то, а после чтения — с разбиваемой неведомо кем головой и сотрясанием мозга, как бывало порой у меня, и так далее, словом, в известные безобразиям грустным года.

Да неужто — сам обо мне, расчувствовавшись после чтения стихов моих, взял да и вспомнил?

Может, просто — задание дали такое? Сказать обо мне приказало ему начальство?

Отрабатывать надо было?

Потому-то и говорил?

И в беглых своих, с юморком, с ухмылочкой, воспоминаниях о СМОГе, в давнем «Стрельце», подумать ведь только, тоже, Юра, Кубик, там, за границей, где-то в западных сытых странах, где прижился он, как всегда приживался и здесь, на родине, — и еще небось приживется, лучше многих своих товарищей, с явной выгодой для себя, из поэта и гражданина превращаясь довольно ловко в господина функционера, — в кои-то веки, сам, без всякого принуждения, видно, под настроение, а может быть, под хмельком, и вот это скорее всего, кое-что обо мне говорил.

Сей текст, зарисовки этикие, развеселые, с приключениями, картинки из жизни нашей былой, наподобие комикса, довелось мне однажды увидеть.

Может быть, Костя Кузьминский просто не знал об этом?

Нет уж! Костя-то? Знал небось. Наверняка ведь знал!

Просто — ждал он когда-то большего, долго ждал — от Юры. От Куба.

И прекрасно, давно понимал, что никогда ничего — от него самого исходящего — обо мне — ни за что не дождется.

Сам-то я, помимо издания книги «Оттиск», вышедшей в срок, в аккурат к приезде страдальца из пределов чужих на родину, тиражом, согласитесь, приличным, в три тысячи экземпляров, сделал, помнится, Кублановскому еще и несколько важных, представительных публикаций, перед самым его возвращением и позже, когда он снова отбыл к себе, в эмиграцию, дабы решить окончательно, вернуться ему навсегда или остаться, как прочие знакомые, за границей, на всякий случай, пока существует советская власть, и опасность еще существует к ней попасться опять на крючок, и поди разберись, что лучше — отсиживаться за границей или, пусть с ореолом героя, загреметь в лагерь, где жизнь не малина, это уж точно, хуже некуда, это уж факт, посему и время нужно, чтобы трезво всем поразмыслить обо всем, что возможно в нашей, непохожей на прочие страны, алогичной, нелепой стране, — в газетах, в различных журналах, в больших антологиях, сборниках, везде, где была возможность публикации сделать мне, да еще и неоднократно писал о нем, и в статьях своих, и в эссе, и в прозе своей мемуарной, и в прочих текстах, написанных в годы надежд на возрождение СМОГа, на продолжение дружб, на воскрешение радости на пути, на свет впереди.

Хотел, по старой-то памяти, обрадовать давнего друга.

Многие люди, знакомые, приятели, даже друзья, скорее всего, те, которых считал я наивно друзьями, нынче, в годы свободы показной, посреди междувременья, в хаосе, так изменились, что, если взять фонарь, как некогда Диоген, и днем с огнем среди разрухи пойти искать человека, и не узнать их теперь.

Мне же, в моем затворничестве многолетнем, все еще дороги те, молодые, чистые, родные, прежние образы.

Может быть, я и чудак. Но стараюсь увидеть в людях, и уж тем более — в давних своих друзьях и приятелях или, что жестче, печальнее, да все же куда вернее, в тех, кого я так долго, искренне, упрямо считал таковыми, — хорошее, светлое, доброе.

И все, совершенно все, что связано с ними, помню.

Вот, на Куба ворчу. Да, ворчу.

А что с него, собственно, взять?

Живет себе. В ус не дует. В голову не берет лишнего. Дышит. Здравствует.

Где-то, как объяснял он сбивчиво и туманно, в Переделкине обитает, писательскую, среди сосен и прочих деревьев, дачу, каким-то дичайшим образом доставшуюся ему, если верить рассказам гневным бывшей его жены очередной, Кати Марковой, дочери моего давнишнего, злостного, пристрастного, со связями и возможностями гадо-сти делать, советского до мозга костей, гонителя бездарного, Алексея Маркова, лауреата и патриота, ну прямо как сам Кублановский нынешний, вроде бы арендует.

Говорит, кручинясь, бедняжка, что тяжело ему там находиться, среди писателей, ну так тяжело и тошно, что просто сил никаких терпеть их соседство нет.

А ведь приходится все-таки, со скрипом, да все же терпеть, как-то под них подлаживаться, помаленьку к ним принаравливаться.

Выйдешь утром на свежий воздух подышать, подумать о жизни, побродить по двору неспешно, чтобы строки стихов гражданственных улеглись в голове рядком, до калитки дойдешь вразвалочку по дорожке мелким шажком, умиленно на солнце сощуришься, разомлеешь в тепле, в тишине, и мелькнет мыслишка шальная, что доволен этим вполне, что на родине лучше дышится, чем в далеком, чужом краю, где пришлось пожить, лучше пишется, что прекрасно здесь, как в раю, синева в небесах, зеленые переливы хвои, листвы, пахнет счастьем, смолой слоеною, и рукой подать до Москвы, подбодришься, всем питаешься, что плеснет, подобно волнам, прямо в нос, и вмиг

раскачаешься, оглядишься по сторонам — и, на тебе, тут же видишь: вся округа так и кишит, вот уж нечисть-то, этими самыми, как их там называют, писателями.

То Вознесенский мимо, с улыбкою, напрокат взятой из антимиров каких-то, в одеждах белых, в адидасовских модных кроссовках, намереваясь, возможно, полетать в подмосковном небе на дельтаплане, или покататься на водных лыжах по широкой глади пруда самаринского, или, может быть, собираясь лететь в Париж или дальше, допустим, в Америку, или, все ведь бывает с поэтами, сочиняя стихи на ходу, по привычке своей, пройдет, просквозит ветерком, развеется, растворится в хрустальной дали, оторвется там от земли, воспарит, приземлится вновь, поневоле разгонит кровь, удалится к себе, творить, чтоб читателей одарить новым циклом на злобу дня, прежний пыл между строк храня, то еще кто-нибудь, из новых поселенцев, помельче рангом, но ухватистых, деловых, вдруг появится, много их.

Нынешний, как бы временный, Хлебников, не Велимир, куда там, зовут которого, припоминаю, Олег, тоже как будто поэт, но еще и сотрудник газеты, с женой своей, поэтессой, а как же иначе, Аней Саед-Шах, с фамилией пышной, экзотической, прямой, восточной, ранее, в годы СМОГа, помнится мне, носившей фамилию скромную Данцигер, той самой восторженной Аней, у которой в квартире, заполненной любителями поэзии и какими-то непонятными мне доселе, темными личностями, якобы тоже страстными любителями поэзии, однажды, по просьбе хозяйки, в начале восьмидесятых, читал я свои стихи, среди жарких свечей и тлеющих ароматных восточных палочек тоненьких, создававших особую атмосферу в заурядном жилье, поднимавших настроение у собравшихся, и народ реагировал бурно на стихи, и на книги мои самиздатовские, а потом, ночью поздней, в пустом троллейбусе, где, помимо меня, находился неизвестный мне человек, возвращался я, после чтения затянувшегося, домой, и настиг меня возле дома неизвестный мне человек, и ударил вначале в висок, а потом принялся избивать, методично, профессионально, а потом растворился в ночи, и очнулся я, весь в крови, на земле, и пополз я к дому, и добрался как-то по лестнице на четвертый этаж, и открыл дверь в квартиру, и рухнул на пол с дикой болью и в голове, и в груди, и везде, и пришлось мне восставать их боли упрямо, как бывало со мной не единожды, и не очень-то мне хотелось принародно читать стихи, если после таких вот чтений разбивают обычно голову, и читать я совсем перестал на публике, и замкнулся в себе, чтобы просто выжить, а стихи пусть читают с листа, рассудил я тогда, и привык не читать, а давать стихи для прочтения людям, поскольку прошло, я понял, орфическое, золотое время, когда с голоса воспринимались прекрасно мои стихи, и настало время другое, жестокое, изуверское, где могли за стихи убить, а я был обязан жить и работать, и весь тут сказ, и жильцы пришлось переделкинские к слову просто, поскольку встретиться может с ними Куб, и, наверное, повстречается, не без этого, почему же здесь не сказать о них, новых дачниках, литераторах, узаконенных междувременьем разгулявшимся, например.

А то и прибывшая вовремя на московские людные стогны и подмосковные дачи из тамбовской степной глубинки поэтесса, из модных, наверное, и скандальных отчасти, Кудимова, с блондинкой длинноволосой, с цепким взглядом, с железной хваткой, бледнолицей, худой, Николаевой Олесей, и не без чар, наверное, кто его знает, но вовсе не из Куприна, это уж точно, тоже поэтессой, само собою, не без этого, вдосталь их расплодилось, всех не упомнить, перечислить всех невозможно, и не надо, пишут и пишут, и пускай себе пишут, увы, научила их всех говорить, на беду свою встарь Ахматова, как теперь замолчать их заставить, на тропе, ведущей к источнику с удивительно чистой, вкусной и полезной для всех поэтесс и писателей, свежей водой, с пустыми, заранее, видимо, по дачам, где жили, до них еще, когда-то, советские классики, развенчанные окончательно, бесповоротно, российскими новыми литераторами, из-

гнанные со скандалом из литературы, из памяти, из обжитых домов, так, чтоб и духу их не осталось в жилых помещениях, по-хозяйски, с чувством и с толком, с трезвой резвостью, приготовленными емкостями вместительными встретятся ненароком.

А то, бывает ведь всякое, кто-нибудь из пожилых и даже старых писателей с заслугами перед отечеством, как из-под земли, возникнет.

И со всеми буквально — здоровайся, со всеми — беседу поддерживай, о проблемах жизни суровой и разрушенной литературы, даже если не хочешь этого, через силу, перемогая самого себя, рассуждай.

Ну как тут, любезный читатель, лишний раз поневоле не вспомнить, что не случайно, выдать, Вознесенский, знакомый старинный и наставник Юрин в поэзии, в мемуарах своих, с характерными для его письма выразительностью и эффектной метафоричностью, констатировал, не без вздоха, не без едкости: «Кублановский стал матерым...» А дальше — пауза смысловая и — выстрел в яблочко неожиданной: «литератором».

Вот ведь как. Не другим каким-нибудь. Ну, допустим, «известным». Нет. Любит точность поэт. Припечатал верным, снайперским словом. Попал в цель. И вот — прижилось. Осталось. И, похоже, надолго. «Матерым».

Переделкино — место, вроде резервации, специальное.

Для писателей предназначенное.

Там писателям раньше, когда-то, при советской власти, в былинные, незапамятные времена, хорошо было жить и работать над нетленками, просто прекрасно, вольготно, живи — не хочу, на природе-то, да какой, подмосковной, лесной, роскошной, уникальной, да что там, единственной в мире целом, неповторимой, вот и все, и лады, слово сказано, дело сделано, быт налажен, мысли так и поют в головах, словно птицы окрестные певчие, да машинки им вторят пишущие, да, порою, редкие перья, по бумаге, как в старину, по традиции давней, скрипящие, и количество строк, написанных на подъеме, легко, растет, и страницы шуршат, и книги регулярно выходят в свет, и проходят годы спокойные на приволье, где есть покой, ну а воля потом, успеется, не до этого нынче среди лиственного, бесконечного, ровного шелеста, шума сосен, смены времен года каждого, силы крепнущей, нескончаемого здоровья, на свежем-то, чистом воздухе.

А нынче, похоже, чувствуют себя там российские новые писатели, то есть те, кто себя таковыми считают, кого принято ими считать, не очень-то, судя по их сетованиям, уютно.

Там Пастернак «весь пейзаж выпил», как Битов сказал.

Надо же! И когда же он это сделать успел?

Еще до истории шумной с Нобелевской его премией горькой, что ли?

Какая, выходит, жажда, неутолимая, страстная, безудержная, у Бориса Леонидовича была!

Жил себе вроде на даче своей, в тишине, без надобности на людях не появляясь, и все писал себе что-то потаенное да писал.

А сам-то, тихоня этакий, многолетний, со стажем, затворник, добрую четверть века, да какого еще, двадцатого, при советской власти, заметьте, не заметившей этого вовсе, прозевавшей такое действо, с явной мистикой, кстати, недаром обучался он всяким наукам философским, а может, и тайным, где-то в Марбурге жил, за границей, в молодые годы свои, да и после, уже в России, жил среди мифов сплошных и легенд, оказывается, подумайте об этом на трезвую голову, хоть однажды вообразите, ну, попробуйте, вдруг получится, попытайтесь-ка, только и делал, что пил да пил переделкинский пейзаж, покуда его весь, до капли, однажды не выпил!

Понятно теперь, почему Юра Куб постоянно жалуется, что и дышать ему там, в Переделкине, ох как трудно.

Нет пейзажа. И все тут. Отсутствует.

Был. Да выпит уже — Пастернаком.

Вместо деревьев — одни писательские фигуры, фантомы, скорее, вокруг.

Воздуха катастрофически, ну хоть плачь, хоть рыдай, не хватает.

Несложно, возможный читатель мой, догадаться всем нам, что пейзаж вместе с воздухом выпит был Пастернаком, — а как же иначе?

Некая часть переделкинского воздуха все же осталась — но разве тот он, волшебный, прежний, густой, лесной, смолистый, чистейший, целебный? — так, ерунда какая-то, бестолковый, разреженный, хлипкий, сырой, без особых примет.

Но — дышать им все же приходится.

Но — жить, как и прежде, надо.

И жить там — конечно же, можно.

И работать — в любых условиях, даже в самых суровых, — надо.

И хочу я сказать, что в нынешней лирике Кублановского неразрывно порою, но чаще приблизительно, слишком условно, связаны меж собою подобие некое школьным сочинением отдающего, своеобразного, с явной моралью, как в басне крыловской или же в михалковской, как-никак ведь они земляки, с натяжкой, большой, конечно же, эпического обобщения и точная, иногда цепкая, как репей, найденная подсознательно, всю погоду в тексте мгновенно создающая, бытовая, оголенная, словно провод электрический, бьющая током, с эротической, жаркой окраской, пусть вульгарной слегка, грубоватой, временами, а то и сшивающая длинной, узкой, холодной иглою пестроватую, смятую ткань вещи, швы и рубцы оставляющая на сомнительной глади, скользкая за края рассуждений, риторикой в нос шгибающих сразу, деталь, попытка искренней исповеди и наметка подтекста, которому дела нет до сюжетной линии, содержания, смысла, тематики, гражданская патетичность и злободневная, в духе солженицынских сочинений, перемешанных с отголосками размышлений русских философов обо всем, что на свете белом встарь когда-то происходило, происходит сейчас и впредь тоже будет происходить, без дословного пересказа, лишь с намеком, без явных цитат, но зато дающих понятие, что читал их писания автор, даже, может быть, изучал, в чем я сильно, как говорят одесситы, теперь сомневаюсь, а также с газетной, быстрой реакцией на события любого рода, которые прямо ли, что надежнее, косвенно ли, что в разброде междувременья тоже сойдет, ничего, пригодится, для дела, разумеется, публицистичность, чувство, еще дающее знать о себе, под сурдинку, и трезвый, проточный расчет.

И еще, наверное, исподволь создавал он, Куб, как умел, как уж там у него получалось, не хочу я в это вникать, и не стану в дальнейшем, ведь это слишком личное, дорогое для него, а может быть, кровное, хронике совершенствования собственной, чистой ли, кто его знает и кто подтвердит, спорный вопрос, на засыпку, но не без добрых движений и не без крыльев, души, стремился, возможно, дать ретроспективу развернутую сложного нашего времени.

Живи, коль живешь по-своему, как уж там получается у тебя, человека общественного, но заикленного на себе, любимом, как уж выходит у тебя, год за годом, долго, дольше можно попробовать, видимо, дальше некуда просто, Юра.

Скажешь ли ты о себе когда-нибудь наше, смогистское, озаренное не случайно молодостью прекрасной и свободой нашей, — «сумел»?

Или сбудется все-таки то, что когда-то, давно уже, в семьдесят четвертом году, однажды написал о тебе Величанский?

Вот уже добрых две трети того, что предрек он — сбылось...
 Есть возможность еще спохватиться,
 выйти к свету, спасая свой дар.
 Ведь измена ему — не простится.
 Куб судьбы — превратится ли в шар?

Аркадий Пахомов. Аркаша. Митрич. Пахомыч. Пахом.

Жизнь, такая, какая сложилась, не чужая ведь, а его, личная жизнь, единственная, собственная, возможно, на чей-нибудь взгляд, несуразная, а может быть, и прекрасная, никому об этом судить не надо, на то ведь и жизнь дарована человеку, чтобы сам он решал, какова она, хороша или все же не очень, и зачем он так озабочен размышлениями о ней посреди многосложных дней, не единожды подвергала его, человека московского, но бывалого, это уж точно, выдавшего всякие виды, огонь с водой и медные трубы в былом прошедшего и выстоявшего, по-своему, как сумел он, как удалось, как уж там получилось в итоге, сам он ведаёт лучше других, что почем, каковы достижения и настанет ли их продолженье, суровым, порою жестоким, так случалось порой, испытаниям.

География, вовсе не школьная, разумеется, но реальная, то есть самая что ни на есть житейская, как ни крути, тоже очень личная, собственная, не вычитанная из книг, не вымечтанная ночами, не вымышленная отнюдь, но вынужденная, случалось, но выстрадавшая, оправданная позицией человеческой в годы гиблого, злого бесчасья, география, накрепко связанная с биографией, география всех скитаний его по стране — прихотлива, пытлива, пестра.

С нею вместе — ветер в лицо.
 С нею вместе — невзгод кольцо.
 С нею — молодость. С нею — зрелость.
 С нею — сердце сжилось и спелось.
 С ней — душа обрела крыла.
 Неужели земля мала?
 Велика она и чудесна.
 Что, скажите, общеизвестно?
 Каждый шаг — откровенья зов.
 Сквозь пространство — рожденье слов.
 Было время — для добрых встреч.
 Стоят игры такие — свеч.

Работа же — в экспедициях, то на юге, в тепле, у моря, то на севере, где прохладнее, то где-нибудь в Средней Азии, среди зноя и миражей, работа иного рода — в сторожах, по традиции, общей для многих знакомых наших, людей, как правило, пишущих что-нибудь или рисующих, в неведомой мне, какой-то кафкианской, похоже, бойлерной, землекопом, разнорабочим, строителем и так далее, всего ведь не перечислишь, — характерна для определенного круга творческой интеллигенции.

Была характерна. Раньше.

Потом, со временем, стала работа — оригинальнее.

Был долгие годы Пахомов — известным специалистом по обивке и укреплению, надежному, это на практике проверено было многожды людьми, квартирных дверей.

В девяностых уже — стал он членом наконец-то Союза писателей.

Что дало ему это — не знаю.

Ничего, скорее всего.

Прирожденная артистичность нередко, нет, зачастую, так точнее, так справедливее, это факт, ему помогала в былых его путешествиях, здоровый народный склад недюжинного ума всегда и везде подсказывал ему выход из тупиковых, казалось бы, ситуаций.

Остроумие, грандиозное, вдохновенное, неистощимое, замечательный дар прирожденного, из Лескова прямо, рассказчика, неизменно, так получилось, так уж вышло, и все тут, делали его, человека блестящего, в молодости особенно, соратника моего по СМОГУ, товарища, друга, незаменимым, прямо говорю, моим собеседником, с осени шестьдесят третьего года, когда мы познакомились и подружились, на протяжении долгих последующих, непростых, чередой идущих лет.

Стихи его, внешне сдержанные, на первый, поверхностный взгляд, чей-нибудь, праздный, случайный, очень традиционные, все-таки, несомненно, таят в себе, ежели к ним присмотреться, да повнимательнее, вчитаться в них, а еще лучше — услышать их с голоса Аркашиного, поскольку лучше него никто не прочитает их, внутреннюю, неожиданную, но ко времени, к месту, взрывчатость, динамику, речевые, открывающиеся внезапно, тонкости, угловатости симпатичные, отдающие неистребимым детством, что само по себе чудесно для бывалого человека, сохранившего драгоценное изумление перед миром, резковатые, да зато помогающие всегда всем изгибам ритмов, пульсирующих среди строк и строф, повороты.

Его защитная, с горечью, спиртовой, жгучей, крепкой, ирония, вопреки приевшейся логике, парадоксально, по-своему, столь счастливо соединенная с полудетской, чистой, застенчивой увлеченностью происходящим, с восторженностью человека, постигающего мироздание во всех его разнообразных, фантастических проявлениях, дает порой непредвиденный, удивительный результат.

Вроде бы нечто слишком уж неуклюжее, тяжеловесное, на глазок, грубовато сбитое, наспех чем-то, авось и так постоит, и сойдет небось, и послужит еще, так-сяк, набум, под шумок, скрепленное — начинает звучать и парить, по неясным причинам, и даже над землею кружиться отважно, порываясь взлететь и выше, прямо к звездам, туда, в небеса.

Есть в стихах Пахомова крупная, нет, не влажная, отсыревшая и слежавшаяся комками, соль немалого человеческого, то есть личного, незаменимого, пусть и труден бывал он, опыта.

Этот опыт — вовсе не шепот.
Это — сердца невольный ропот.
По тропинке приморской топот.
Щебет птиц рассветных в саду.
Лепет искренний, эхо детства.
Надоевших невзгод соседство.
Всех событий былых наследство.
Вздых души, бывавшей в аду.
Взгляд сквозь годы. Тоска по раю.
Рой утрат. Обретений свет.
Право — жить. Находиться с краю.
Воспарять — меж земных примет.

Он тяготеет к формуле, выражающей состояние.

Рисунок его, пахомовской, фирменной, личной фразы скуп, угловат, но он очерчивает поэтический, неповторимый мир, в котором упрямо бьется щедрое, уже несколько подуставшее сердце Аркадия.

Философская подоплека его неброской, пронизанной мыслью, всегдашней, надежнейшей, это важно ведь, проводницы чувства живейшего, выросшей из союза этого, лирики непосредственно связана с жизнью, с ее, этой жизни, реальной, легендарной, метаморфозами.

Читая стихи Пахомова, думаешь: да, вот этот человек, современник, поэт, знает нечто важное в жизни, но отнюдь не торопится тут же высказывать это вздохом.

Внимательное, неспешное, вглубь и ввысь за собой уводящее вчитывание, вхождение в речь, позволяет увидеть многоплановую структуру лучших его стихов.

Приемы, интуитивно, полагаю, им примененные, обратной перспективы, как в иконе, или высокого примитива, как это бывало, положим, у Пиромани, помогают поэту выстраивать зрительный ряд сообразно его, очень личностной, искренней, доверчивой интонации.

Несколько тяжеловесное, верней — полновесное, слово всегда у него на месте, чистота же речи родной — одна из примет, узнаваемых мгновенно, неоспоримых, естественных, благородных, давно развитой поэтики.

Поскольку книга поэта, изданная в том виде, в котором она написана, без всяких вторжений извне, редакторских или цензорских, — свидетельство незаменимое творческой, неповторимой, полнокровной и сложной жизни, я и помог в свое время другу-смогисту Аркадию издать наконец эту светлую, сильную, полновесную, единственную у него, к сожалению, книгу стихов.

А в последние годы, зимою, в Москве, сюда возвратившись из своего Коктебеля, с ним виделся я все реже, почему — да кто его знает, получалось так, да и все, и все чаще, порой ночами, говорил с ним по телефону, а вернее — все больше слушал, так обычно всегда выходило почему-то, его самого, когда ему надо было, по причинам разнообразным и вполне мне понятным, выговориться.

Дорого нынче внимание.
 Напишу, пожалуй, о нем.
 Колоритный он человек.
 А еще он — из нашей молодости.
 В как бы времени он — чужой.

...Таковы, мой возможный читатель, — или, уж замахнусь и скажу посмелее, пошире, свободнее, во множественном числе, почему бы и нет, мои возможные, вероятные, нет, реальные, многочисленные, со времен самиздатовских давних, героические читатели, подвижники, правдолюбцы, соратники, современники, все, кто выжили в годы прежние, все, кто живы в годы теперешние, все, кто выстояли в горнилах затянувшегося междвуременья, пожилые и молодые, все, решительно все читатели, благо есть вы у нас на Руси и всегда, полагаю, будете, настоящие, чуткие, верные, внимательные, понимающие и меня самого, и моих героев, из книги в книгу кочующих, в них, в этих книгах существующих, вопреки умиранию и старению, ибо живо мое горение, ибо дух мой крепнет с годами, возмужав с моими трудами, вместе с речью моей, для вас, люди светлые, в добрый час, — краткие характеристики четырех поэтов, товарищей, так ведь было когда-то, по нашему, встарь собравшему нас под свои боевые знамена, прекрасному, несмотря ни на что, достойному и теперь, и в грядущем, сочувствия, а возможно, и уважения, и, все может ведь быть, продолжения дела нашего, нашего

слова, легендарному, с явью сросшемся, чтобы сказкою в ней остаться навсегда, знаменитому СМОГу.

Линии судеб отнюдь не вытравлены на металле, а лишь вчерне обозначены.

И непростые это, надо заметить, судьбы.

«Вера без дел мертва есть», — сказано (если помните) в послании (если читали вы) апостола (если знаете, о ком говорю я) Иакова.

Верили в нас когда-то и верят и ныне в нас, бывших участников СМОГа, многие современники.

Что же, вполне возможно, мы это — заслужили.

Составлял я в самом конце бестолковых восьмидесятых антологию СМОГа, двухтомную, в которую, специально, помимо стихов и прозы, включил статьи, размышления, заметки, воспоминания, фрагменты писем давнишних и прочие, убедительные и очень важные тексты.

Подобрал я изобразительный обширный материал — наши, мои и губановские в основном, потому что мы оба с ним хорошо рисовали и много в стародавние годы, рисунком, репродукции с живописных и графических сильных работ художников нашего круга, достаточно много наших интереснейших фотографий.

Но издание этой большой Антологии, нужной, важной, так и не состоялось.

Подвели обещальщики бравые, доморощенные издатели, какие-то кооператоры, залетные ребяташки, не московские, а ростовские.

Обманули. Дело привычное, вполне вероятно, для них.

Даже рукопись в полном виде не вернули мне. Лишь ошметки от нее бандеролью прислали. Да и то не сразу, с большим запозданием, после требований, не моих, а моих друзей.

А я ведь столько труда в антологию эту вложил.

Сам отбирал я тексты, сам на машинке их неделями перепечатывал — причем все-то в одном-единственном экземпляре.

Сам работу текстологическую старательно выполнял.

Сам всю эту гору машинописи тщательно, долго вычитывал.

Сам подборки автора каждого, чтобы дать о нем представление по возможности лучшее, делал.

Сам о каждом из авторов, коротко, но зато и на совесть, писал, вроде врезок, сжатые тексты.

Сам вступительную статью серьезную написал.

Сам выстраивал композицию.

Сам обдумывал иллюстративный, необходимейший ряд.

И никто из друзей-смогистов мне в трудах моих не помогал.

Сам. Абсолютно все — только сам. Один. Как всегда.

Выйди такая большая антология наша вовремя — она замечательно просто, поверьте мне, прозвучала бы.

Это было бы настоящим, достойным издательским делом.

Как и издание некоторых отдельных, стоящих книг, которым давным-давно, тогда еще, на заре свободного книгопечатания, после долгих лет пребывания в самиздате, в виде истрепанных и зачитанных перепечаток на машинках пишущих наших, тоже вовремя надо было, в типографиях, выйти в свет.

Все написанное поэтами и прозаиками отечественными, хорошими, разумеется, только так, не иначе, вовремя — надо бы, господа и дамы, ко всем обращаюсь, кто слышит меня, кто хотя бы немного меня понимает в круговерти шальной междувре-

меня, и любым из возможных способов, даже с помощью редких спонсоров, пусть и так, все равно, издавать — и, запомните это, — вовремя.

Но... Как это там известный политический деятель нынешний, на века, однажды изрек? — «Хотели — как лучше...» — так? Ну а дальше? «А получилось — как всегда». И всем все понятно. И добавить к этому нечего. Кроме грусти. Но это — пустяк. По сравнению с непреложным — на скрижали его — «как всегда».

Ничего. Перебьемся. Бывает.

Мало ли что — срывалось?

Мало ли что почему-то — не выходило еще?

Мало ли сколько лет ждали мы лучших времен!

Нашему делу главному — русской литературе — мы отдали долгие годы, а некоторые из нас, не забудьте об этом, — и жизнь.

Вы — просто читайте, и все тут, мудрить особенно нечего, читайте, мои современники.

Вы — наши читатели. Ныне. Времена у нас общие с вами.

Вот пусть и предстанут сейчас перед вами давно уже пишущие, немолодые, седые, издававшие виды люди, до сих пор, незнамо зачем, толком так и не изданные на своей драгоценной родине.

Каждый из нас уверенно, по-своему, как уж умеет, как дано ему, как относится он к труду своему, владеет русским, светлее которого в мире нет ничего, поверьте, земным, но еще и небесным, всем нам свыше дарованным словом.

...И здесь я, возможный читатель мой, — временно, разумеется, — перестану говорить о легендарном СМОГе.

Не сказал я и сотой доли того, что намеревался сгоряча поначалу сказать.

Почему? По простой причине: об этом должна быть книга.

Множество заготовок, записей, кратких набросков, кусков довольно больших, в разной стадии завершения, находится рядом, буквально в одном-единственном шаге от меня, в рабочей моей комнате, — вот они, эти груды бумаг, лежат на полу, на столе, на диване, по углам, возле стен, везде, где сложил я их, чтоб не мешали, потому что работа над серией книг моих о былой эпохе продолжается, год за годом, и число страниц, на которых оживает время былое, вместе с трудной моей судьбой, вместе с речью моей живою, разумеется, все растет.

Будет ли сделан когда-нибудь мне навстречу один-единственный шаг, один ведь, всего-то навсего, от какого-нибудь издательства, с предложением, принести туда книгу «Время СМОГа», — посмотрим.

Поживем — а там и увидим.

Все равно, из упрямства, хотя бы, эту книгу я напишу.

Многое из нее, между прочим, уже написано, придется признаться в этом, — и фрагменты эти сейчас, по многолетней моей, самиздатовской, давней привычке, вылеживаются, чтобы несколько позже их внимательно просмотреть и что-то в них уточнить, а может быть, так бывает, и заново переписать.

А не будет такого шага, одного, такого хорошего, предложения от издательства, полагаю, тоже хорошего, так-то лучше, — что ж, и не надо.

Переживу. Не впервой.

Мой самиздат продолжается.

Пусть даже, вполне вероятно, в наше-то междувременье, это уже не прежний, с традициями, самиздат, а натуральный, братцы, нынешний тадзимас.

Наоборот читайте слово, давно знакомое каждому, «самиздат» — получится: тадзимас.

Время нынче у нас в державе — наоборотное.

Так-то, мои сограждане.

И обольщаться нечем.

И надеяться — тоже не на кого.

Кроме себя самого.

Вот и работаю, милый читатель мой, все эти годы, в отличие от несметного числа московских и прочих знакомых мне литераторов, то есть — честно, по-своему, вкалываю.

Тружусь. Пишу свои книги.

Стихи и прозу пишу.

Толком так и не изданные до сих пор, несмотря на давнишнюю мою, мировую, как мне говорят иногда, известность.

Как там сказал обо мне бывший соратник по СМОГУ, писатель (проэт, как сам он себя называет) Саша Соколов, живущий в далеких, отсюда не видно, странах, глядящий, возможно, с грустью на волну в чужих океанах, приносящую весть с востока, вроде письма в бутылке, чтобы свет своего истока уяснить до боли в затылке, до слезы на щеке скуластой, до морщинок на лбу загорелом, до тоски, пускай и нечастой, знака свыше, заняться делом, то есть просто работать, истово, неустанно, вечно трудиться, пусть и надо ему, смогисту встарь, хоть на Брайтоне находиться?

— Он просто титан, я всегда тихо восхищаюсь, глядя на его вдохновенность, на то, как он работает, невзирая на обстоятельства и окружение.

Вот-вот. Человек, полагаю, знает, что говорит.

Что касается окружения, то оно в последние, сложные для меня, что же делать, так вышло, в междувременье общее, годы, когда я так напряженно и неслыханно много работаю, — минимальное, это уж точно, да зато, знаю сам, золотое.

Ну а насчет обстоятельств — то они далеко не просты, и вообще все это вовсе не для поверхностного упоминания вскользь, и не об этом сейчас, не об этом, любезный читатель, собеседник возможный мой, речь.

Речь всегда у меня — о работе.

О труде — которым я жив.

И труд этот — продолжается.

И будет он длиться — покуда я, отшельник давнишний, жив.

Это — самое важное. Главное.

И завершим тираду.

На долгой, звенящей ноте.

На звуке, том самом, желанном, камертонном, дающем начало всей дальнейшей, полифоничной, бесконечной, вселенской музыке.

За которой уже встает жизнестойкий, спасительный свет.

А за ним — продолжается путь.

Мой. Которому я — верен.

Мне пришлось рассказать о СМОГе — для начала — совсем немного.

Так, истории, персонажи. Наподобие — пусть! — пролога.

Остальное — потом. Дождется своего заветного часа.

То-то вдосталь — вне «Тадзимаса» — моего золотого запаса.

Знаю — будут написаны книги. Может — будут изданы даже.
Написать-то их — напишу я. Но издать-то должен — не я же.
Вон уже написано сколько! И куда мне девать все это?
Самиздат многолетний. Подвиг — многотрудный — во имя света.

Вот как я говорю сейчас.

Но — имею на это право.

Поскольку был мне, как сказано ранее мною, голос — прислушался я к нему.

И задачу свою теперешнюю — дать начальное представление о СМОГе — считаю, выполнил.

Немало различных сведений, в диапазоне широком, от грустных до развеселых, от веющих трагедийностью до житейских, простых, о СМОГе и о людях, в прежние годы входивших в содружество наше, читатель найдет в других частях, если будут они когда-нибудь напечатаны каким-нибудь из многочисленных отечественных издательств, благо их так много теперь, а я-то, еще не старик, надеюсь, но чудом выживший, седой, живущий отшельником, в как бы временной круговерти не участвующий сознательно, все работающий в своем киммерийском тихом укроме, вопреки бестолковщине общей, вспоминающий отшумевшую, героическую эпоху, воскрешающий время сложное в слове, в речи своей, вечно занятый кровным делом своим, тем, что исстари называется всеми творчеством, бородатый, усталый скиф, весь, как есть, всего-то один, и сказать о том, что я пережил, что я выстрадал сам, да так, чтоб осталось это надолго, больше некому просто, нынешней, большой, действительно так, серьезной, максималистской, как всегда у меня бывает, поскольку именно так писать мне всегда интереснее, нежели ограничиваться каким-нибудь скромным объемом, хватит, мол, с вас и этого, нет уж, братцы, замысел мой серьезен и, как выражаются деловые люди, масштабен, знайте об этом и помните, люди нового века, моей, а не чьей-нибудь, серии книг о былом.

В некотором, в каком-то, гадайте сами, решайте, в каком же смысле, она — своеобразный дайджест.

Но тут же морщусь невольно вновь от словца заграничного.

Куда ведь разумнее все-таки и неизмеримо проще выразиться привычно, по-русски: товар лицом.

А еще это — сверхпоэма.

И музыка — полифоничная, разумеется, только так, с особым, как утверждают сто собак, наверное, съевшие на чем-то своем, понятном им самим, а может, не очень понятном, но уводящем их в область сплошных догадок и даже тайн, знатоки, алейниковским, представьте себе, небывалым, фирменным, вслед за баховским существующим в наши смутные дни контрапунктом.

И этакий необычный, волшебный, фантазмагоричный, магический, это уж точно, парадоксальный фильм.

И еще — немало чего.

То есть попросту — моя проза.

Вот такая, как есть. Моя.

Как еще выражаются критики плюс издатели — проза поэта.

И о ней говорить я не стану.

И тем более — объяснять.

Зачем? Говорит она — сама за себя, как всегда.

И ее лучше просто — читать.

Не удержусь, пожалуй, от некоторой патетики.

Не буквальной. Скорее — грустной.

Так, для памяти. Да еще — для того, чтобы круг земной, тот, в котором СМОГ существует и останется навсегда, был прекрасен и полон смысла, ждал в грядущем нового слова о былом, выжил в яви, с правью дружен был — и дыхание речи в мире гроз и тревог продлил.

...Настали для нашей России новые времена.

В сложном процессе всеобщего брожения, отчуждения, недоверия, осуждения того да сего, крушения устоев, надежд воскрешения, повального безобразия, вторжения желтой Азии в просторы наши пустынные, кивков головой повинною, сомнения, отрицания новаций, миров мерцания в пространстве Вселенной, сонного прозренья, котла бездонного с клубящейся повседневностью, мелодий всех, с их напевностью, ритмичностью, смутной личностью в начальстве, самокритичностью, раскаяньем запоздалым, шатанием по вокзалам, скитаниями по свету, чья песня еще не спета, неистовым постижением чудес, в небесах кружением над грешной землей, парением, новейшим столпотворением, почти вавилонским, в пряничных московских пределах, праздничных гуляний на фоне бедности окраинной, злости, вредности, насилия, зла кровавого, террора, орла двуглавого, заместо звезды, вверху, признаний, как на духу, намеренных умолчаний о многом, речей, венчаний, свечей по церквам открытым, разбитым вконец корытом, предательством и геройством, таким общерусским свойством, как лень, и другим, похлеще, где трезвый есть взгляд на вещи, покуда, мол, гром не грянет, мужик ни за что не встанет, с негаданным, вдруг, подъемом, с увиденным окоемом вдаль, со звездой в окне, с порядком во всей стране, со светом в грядущем, снова, с незыблемой верой в слово, с торжественным обещанием свободы, с ночным прощанием с эпохой отшумевшею, нам столько дать сумевшею, что хватит его с избытком на всех, и живым напитком окажется горечь лет, где я восставал из бед когда-то, все не напрасно, и помнится все прекрасно, и все же душа цела, и жизнь все равно светла, казалось бы, не до «другой», не до нашей литературы, не до «другого», нашего, выстоявшего искусства, — «день пережит, и слава богу».

Ан нет, вы подумайте только, вы представьте себе, господа и дамы, наши, не чьи-нибудь заграничные, нет, на родной почве живущие ныне, посреди междувременья нынешнего, ставшие господами и дамами в новых условиях, так сказать, на свободе, на воле, в наслоениях грусти и боли над просторами бесконечными и над истинами извечными, до которых поди доберись без былого, с его жутковатым, но зато и полезным опытом, оказывается, любезные соотечественники мои, на то она и Россия, со всеми своими загадками, издревле непостижимыми для всяческих иноземцев, чтобы Слово в ней еще более, чем прежде, в плену советской действительности, которой сыты мы были по горло, певчее, у поэтов, обожженное алкоголем, у народа, у большинства нахлебавшихся горя сограждан, обретало великую силу и неслыханное значение.

Отечественные читатели всех видов, какие только возможны в новейшей яви, без довеска к ней прилепившегося дешевою жвачкой «как бы», сорняка без корней, идотского добавления к общему бреду, словно водки паленой к обеду, чтоб травился ею народ и уже не глядел вперед, но с тоской озирался назад, в свой минувший, с просветом, ад, проникая в просвет, как в дверь, в мир надежд и сплошных потерь, где спасала его любовь, чтоб встать из кошмара вновь, и спасает его опять, и поможет по новой встать, — наивные неофиты, дотошные книгочеи, образованные знатоки — живы, они существуют, литература — жива.

Изжила себя, разжевала да и выплюнула эстрадность, в тень ушли различные внешние проявления литературного, если есть таковой, процесса.

Читатель теперь идет вглубь, смотрит, как полагается, в корень: он читает неторопливо, в тишине желанной, с листа.

И тогда-то если не все, то, во всяком случае, многое становится для людей в достаточной степени ясным.

В стремительной кутерьме, в бестолковой калейдоскопичности событий каждого часа, каждого дня и года высветляется постепенно то необычайно важное, нередко необходимейшее для целостной нашей культуры, а порою, да что там, нередко, и все чаще, еще и главнейшее, что долгими десятилетиями, сознательно, целенаправленно, преступно, цинично замалчивалось, отодвигалось подальше, всячески изничтожалось, лишь бы только, наперекор правде творчества, исказить общую, пусть непростую, но зато и весьма впечатляющую размахом своим, картину, спутать карты, сбить с панталыку, нарушить ориентиры, сместить нарочно понятия, перевернуть все с ног на голову, и всталась здесь было и дирижеров, и ретивых вполне исполнителей, — но все хорошее, светлое, все настоящее, чистое невозможно даже властям, даже недругам самым лютым, извратить, сгубить на корню и немедленно уничтожить — оно выживает, поскольку, по сути своей сокровенной, оно всегда светоносно — и, следовательно, с упрямством извечным, противостоит кромешной, злокозненной тьме и побеждает ее.

Так случилось, читатель, и с нашим знаменитым когда-то содружеством.

И деятельность его, давно уже, так давно, что начало всего чуть брезжит сейчас из тумана времен трудноватых былых, ставшая легендарной, обретает, пусть и не сразу, постепенно, с годами, зримые, вот что важно, мои современники, люди новых времен, черты.

Особых лавров, замечу, обстоятельство это серьезное никому из нас не принесло, ума и таланта доселе никому еще не прибавило.

С изрядным, порою чрезмерным, с перебором большим, запозданием выходят, все же выходят в свет, словно к свету выходят, к людям выходят, к читателям, наши, доселе не все, далеко ведь не все, так скажу я, изданные в отечестве многострадальном, светлые, несмотря на былые беды и бред междувременья нынешнего, долговечные, сильные книги.

Они существуют в мире гроз и радостей самостоятельно, существуют давно, независимо от нас, у них свое место на столе или где-то на полке, рядом, руку порой протянуть и достать их несложно, поскольку их читают все больше, все чаще, с ними легче и жить и дышать, к ним с годами уже привыкают, можно с ними сродниться, пожалуй, в них эпоха, любовь и тепло, судьбы, все, что по жизни вело и ведет, в них осталось навеки все, что дух укрепит в человеке, все, что в душах крылатых сохранно, несмотря на сердечные раны, все, что связано с вечной вселенной, все, что правдой живет сокровенной, — и у людей уцелевших героических старших, прекрасных, по-моему, поколений, и у той молодежи чудесной, которая только теперь начинает с ними знакомиться.

Но в них — наша жизнь, наши судьбы.

Наша явь. Наша правь. Наша речь.

Поседевшие, в слишком уж горестном, но зато и прекрасном столетии слишком часто, чаще уж некуда, полагаю, выдавшие виды, с некоторой, неизбежной и вполне объяснимой грустью, по отдельности каждый и вместе, всем содружеством, всею плея-

дой, и опять в одиночку, да так, чтобы лишнего не было взгляда, постороннего взгляда, извне, чтобы этим порывом людей, по возможности, не смущать, и, неожиданно сближаясь, все разом, всем созвездием, всею гурьбой, молодую когда-то, теперь же умудренной всем опытом лет, прошумевших крылами над нами, отозвавшихся в душах, в сердцах ясным светом и музыкой празднеств на руинах эпохи былой, мы оглядываемся устало, но с достоинством, с гордостью даже, и, конечно, с любовью, назад.

Там, совсем далеко, где-то в туманном прошлом, — брежневская эпоха застоя с ее гонениями, травлей, разгромом СМОГа, с нашим невероятным, упорным противостоянием ненавистному, грозному злу.

Там наш СМОГ — и он, подчеркну я, вовсе не кратковременное, так, для галочки, образование, он явление, символ, отрада, правда, радость, знамение, знак, звук магический, свет, он выжил — вопреки трагическим, гиблым обстоятельствам страшной эпохи, выжил, выстоял, — может, и чудом, — да, наверное, и хорошо бы, если было бы — именно так, но больше, пожалуй, из гордости, из упрямства, из чувства долга перед речью родной, по призванию, по судьбе, по причине земной и вселенской необходимости, по высокому зову с небес, потому-то хватало чудес, кроме бед, и невзгод, и обид, потому-то и мраком не скрыт путь сквозь век, и звезда поднялась над водою, и связь родилась с каждым сердцем и с каждой душой, и воскрес нескончаемый строй, удивительный эпос восстал из руин и легендой стал, мифом, песней нашей о том, что в тумане вело золотом к синеве, где сиял Орион вместе с ясным созвездием имен, и еще оттого, замечу, что и таланта, и мужества хватило, даже с избытком, у лучших его участников на все, что сопряжено с понятием этим — СМОГ, он выжил — и утвердился в слове, в деле, в истории, в памяти современников, остался — надолго, думаю, может быть — навсегда, в русской великой речи.

Тридцать семь лет назад (а теперь-то, когда эту книгу я решил, — по чутью, по наитию, как обычно, — переписать, лет прибавилось нашему СМОГу, посчитаем-ка, сорок один год назад, вот как время идет, если есть оно вообще, ибо время — сама материя, как давно еще было сказано, и не мною, а предками нашими, время чайний, время свершений, время радостей, время радений, время имени, время любви, время звездного света в крови) наше творчество, раннее, свежее, молодое, вдруг оказалось необходимым людям.

Все мы тогда еще надеялись только на лучшее — и, признаюсь теперь, совершенно не представляли, что ждет нас всех впереди.

Теперь-то понятно мне, почему доселе никем из очевидцев, слушателей, зрителей, соучастников невольных, уж так получалось, вечеров смогистских минувших, мираклей волшебных, празднеств, не забыты наши давнишние, не имевшие вовсе аналогов, удивительные выступления — таких в Москве, да и в прочих городах, да и в мире, пожалуй, больше, и это правда, никогда уже не бывало.

Теперь-то понятно мне, почему столь памятливы многим и наши чтения авторские — тоже ведь, согласитесь, совершенно особый жанр, к сожалению, безвозвратно ушедший сегодня в прошлое, — в самом деле, неповторимое, в своем, разумеется, роде, в своем, да, только в своем, в своем, а не в чьем-нибудь, везде и всегда — в своем, единственное искусство чтения собственных, страстных, орфических, светлых стихов, чтение — пение, чтение — действие, властное, странное, никогда, читатель возможный мой внимательный, не повторяющееся, всегда без повторов, новое, новизною живущее, некое таинство приобщения слушателей к поэзии, общего пребывания в мире поэзии, в космосе вечном, в стихии речи, пребывания восхитительного, трансового, магического, с осязанием нитей невидимых, ощущением незримых связей во вселенной, в сти-

хии речи, пребывания, о котором никакого уже понятия не имеет, увы, вся нынешняя пишущая молодежь и о котором ныне остается мне только грустить.

Пресловутый, всем хорошо и давно известный, «широкий резонанс», не менее броское, заявленное с размахом, с прицелом в грядущее, «пристальное», замечу, то есть повышенное, особенное «внимание» общественности, понятия расплывчатого и смутного, как и многое, чуть ли не все, если честно, «в нашей стране», у которой своя шкала непреложных, извечных ценностей когда-то была, и редко, так редко, что и по пальцам всех случаев не перечесть, вторгались в эту шкалу кометами беззаконными, как в круг расчисленных кем-то. неведомо для чего, заранее, по привычке, скорее всего, канцелярской, чиновничьей, бюрократической, новые имена и новые смелые веяния, движения, мысли, поступки, временами отдельные подвиги, творческие, человеческие, гражданские, личные, разные, которых не так уж и много, но которые все-таки есть, как и гордость, и доблесть, и честь, и любовь, и надежда, и вера, и какие-то вроде химеры, и живые остались примеры и того и сего, чтобы впредь не сгорать никому, но гореть, всем, что душу в итоге спасет на пороге зримых высот, «и за рубежом», к «делам давно минувших», конечно же, поди-ка верни их, «дней», а с ними и лет, и долгих, нелегких десятилетий, да что там, целой эпохи, ни больше ни меньше, вот что пора бы уразуметь и прежним, сумевшим выжить, и новым, нынешним людям, на всех просторах доселе необъятной нашей державы, и за ее пределами, условными или реальными, попробуйте-ка в географии теперешней разобраться, если надо спешно историю перекраивать, перестраивать, переписывать, как всегда на Руси бывает, с приходом новой власти и новых идей, новых ценностей, новых событий, не всегда приятных, скорее разрушительных, страшных с привкусом крови, пота и соли, с полынной сухой горечью, с ветром, над развалинами поверженной, может быть, а может, и нет, изменившейся просто империи, по ночам оголтело гуляющим, ледяным, круговым, сквозным, оказывается, нисколько почему-то не запылились, не исчезли под спудом тягостной, для сердец людских, повседневности, — они стали частью легенды.

Для меня, человека, выдавшего виды, всего навидавшегося, в том числе и такого, чего и врагам, если есть таковые, ни за что ведь не пожелаешь, уцелевшего в бедах, седого, живущего в стороне от всех безобразий нынешних у моря, в своем затворе, сознательно, долго, чтобы работать здесь, в тишине, где покой и воля, которые столь нужны были Пушкину встарь и которых он, что же делать, знать, судьба такова, не дождался, осязательны в любую пору года, на протяжении дня, утром, вечером, ночью, в любой час, в любую минуту, в любое, драгоценное для меня, изумительное в своей новизне и красе мгновение, теперь совершенно ясно, что молодой порыв наш был — действительно жертвенным.

Всегда в искусстве, в поэзии жертва — необходима.

Невозможна Москва — без СМОГа. Не бывает огня — без дыма.

Поднимается дым — взгляни-ка — над империей, над эпохой. Дым пожарищ. Давнишний СМОГ. И не ахай теперь, не охай. Дым над жертвенником. Прощальный. Уходящий в небо над нами.

Дым, похожий то на мираж, то на чье-то, в заплатках, знамя. Пламя, вспыхнув, не угасает. Разгорается все сильнее.

Обжигает — но и спасает. И грядущее — все яснее.

Очистительный СМОГ. Над миром. Над страной, с ее свободой.

То элегией отзовется, то державинской звучной одой.

То идиллию вдруг навеет, то эклогу. Имеет право.
На такое, что, право слово, призовет и любовь, и славу.
СМОГ. Порог. Преддверье. Предгранье.
СМОГ. Урок. Предвестье. Прозренье.
СМОГ. Упрек. Упрямство. Сгоранье.
Видит Бог — сплошное горенье.
Сочетание грез — и слез.
Все — впервые. И все — всерьез.

И расправу властей над нами — сознательно это подчеркиваю ныне — мы не забыли.
Это для них, для властей, были мы, так считалось, вроде бы уничтожены.

На самом же деле — мы продолжали существовать.

И пусть нам надолго закрыли пути к желанным когда-то для нас, молодых, публикациям на родине, пусть запрещали выступать, даже изредка, с чтением стихов своих перед людьми в различных аудиториях, которых было так много (да есть и теперь, говорят, и намного больше, чем прежде, только время ушло навсегда орфическое), в столице, — мы по-своему, как уж вышло, как сложилось тогда, «ушли в подполье», мы продолжали встречаться в квартирах друзей, наших единомышленников, — да везде совершенно, где только появлялась такая возможность, мы по-прежнему, хоть и нечестно уже (ничего не поделаешь, гнет был слишком тяжел, контроль был всеяден и вседушен, и присмотр был за нами налажен, и доносы шли по инстанциям, и цепляли незримые граждане на погоны свои кагэбэшные новехонькие, сверкающие, с пылу с жару, за службу отечеству, за дела смогистские, звездочки), собирались вместе, охотно и помногу читали стихи, напряженно, серьезно работали.

Пламя, буйное, небывалое, раздражавшее столько чиновников государственных, монстрам всяческим, от искусства, от литературы, жить спокойно в болоте своем сытном, пусть и с трясинной, мешавшее, хотели всеми возможными способами, каковые имелись в распоряжении у советской, тоталитарной, безусловно, жестокой системы, на костях, на крови разросшейся непомерной раковой опухолью с метастазами, очевидными для людей, погасить — да не вышло.

Пламя, жар, горение, творческое, человеческое, провидческое, — оказались куда сильнее даже самого страшного зла.

Вот судьбы наши — и собственная моя, уж я-то на собственной шкуре, как говорят издревле у нас в народе, испытал все это, судьба, и судьбы моих товарищей — да, были, с болью, со вздохом говорю об этом теперь, исковерканы, изуродованы.

Здесь уж власти всю постарались, отработали власть свою.

Фантазмагория, прочно прижившаяся на отечественной, терпеливой на редкость почве, продолжалась десятилетиями.

Да и нынче она продолжается, матеря и завихряясь, несколько изменившись, приспособившись к междувременью.

Вдосталь хлебнули мы горя когда-то — но знали и то, чем сердце спасалось певчее и крепнул высокий дух.

Живое, всегда полнокровное, плодотворное, важное, нужное творческое общение — вопреки любым наваждениям и фантомам казенного времени — вот что такое наш СМОГ.

Нечем теперь заменить драгоценную эту возможность — чувствовать рядом плечо надежного, не предающего в любых обстоятельствах, верного, испытанного на проч-

ность в сердцевине бесчасья, прошедшего бок о бок с тобою огонь, воду и медные трубы, — так вот хочется мне сказать, по вполне понятным причинам, потому что ныне таких днем с огнем не сыщешь нигде, как бы этого ни желал ты, человек усталый, бы-валый, поседевший давно, живущий речью, творчеством, в стороне от бессмыслицы междувременья, от столичной суетной блажи и тусовочной праздности, — друга.

И если я постоянно говорю о том, что когда-то мы учились жить, совершая, вопреки сплошным безобразиям властей советских, поступки, — так все и есть, и умение это, читатель возможный мой, поверь, — далеко не простое, и не каждому это под силу, и не каждому это дано.

Мы учились этому в годы, когда в стране, постоянно терзаемой жестким режимом, контролируемой непрерывно кремлевскими, жутковатыми, даже с виду, партийными деятелями, направляемой по бредовому, тупиковому даже, пути, и не пахло еще никакой, даже самой малой, свободой.

Но мы тем не менее смело совершали их, наши поступки.

А некоторые из нас — еще и подвиги. Творческие.

Будто бы наперекор затянувшемуся, измотавшему совершенно всех, лихолетью, были мы, слишком тогда молодые, но и талантливые, это правда, обласканы ранней, полуправильной, но прочной, стойкой, подлинной славой.

Странно, читатель мой нынешний, я надеюсь, доброжелательный и вполне образованный, мне, человеку немолодому, говорить сейчас, вспоминая время СМОГа, такие слова.

Чем, с годами, все лучше, осознанно существуя в стихии речи, расширяя ее возможности, находя свои, незаемные, потому-то порой и тернистые, не без этого, братцы, пути, поднимаясь к высотам новым, проникая в глубины смыслов, к звездным далям стремясь упорно всякий раз, и серьезнее пишешь, тем отчетливее и чаще видишь, с болью, уже нескрываемой, как редуют когда-то шумные и восторженные ряды тех, кому все, что делаешь ты, интересно и необходимо.

Увы, это закономерность.

Вспомним, грустя невольно о подлинном понимании писаний моих, да что там, хотя бы о самом простом, человеческом, добром внимании, дорогого, право же, стоящем посреди междувременья нашего, злополучного как бы времени, если резче сказать о нем и, как прежде, играть с огнем, воскресая в огне, дыша всем, что с детства хранит душа, всем, чем сердце давно живет, всем, чем речь на земле слышет, пробуждая сознание, дух укрепляя, тревожа слух переключкой эпох и эр, грандиозных небесных сфер вечной музыкой по ночам, вздохом утренним по лучам теплым солнечным, при свече размышлениям о ключе к старым истинам, при звезде тяготенью к живой воде, к новым тайнам стремленью, в путь зову давнему, чтобы грудь свежий ветер наполнил вновь, чтоб с надеждой пришла любовь, чтобы вера была светла, чтоб в грядущем весна цвела над страной, где правит бред, где покоя и вправду нет, да и воля брезжит едва, золотые вспомним слова Гоголя Николая Васильевича, гениального ведического поэта — в его статье замечательной, пронизательной, точной, о Пушкине:

«Эти... сочинения можно назвать пробным камнем, на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика. Непостижимое дело! Казалось, как бы им не быть доступными всем! Они так просто-возвышенны, так яркие, так пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты. Как бы не понимать их! Но, увы, это неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг об-

ступившей его толпы и наконец так становится тесен, что он может перечест по пальцам всех своих истинных ценителей».

И здесь происходит строгий, своеобразный отбор.

Зато тем более дороги пусть и не столь многочисленные, но настоящие, знаю, обращаясь к ним ныне, читатели, те, о которых Ахматова далеко не случайно сказала: «поэта неведомый друг».

По завершении прошлого, безумного, но и родного, не мы ведь его выбрали, мы просто в нем жили, столетия, в самом начале столетия нового, неизведанного, — таким неслыханно важным для русского, непохожего на всех остальных писателя оказалось пусть и нечастое, но искреннее внимание, за которым, быть может, придет и подлинное понимание — в дни космической, для России и для речи спасительной эры — будем верить ей — Водолея.

Даль блаженная. Горький слог.

Соль земная да боль сквозная.

Дар нежданный. Судьба? Не знаю.

Если СМОГ — то, считай, пролог.

Было слово в начале — и слово это было, конечно, СМОГ.